

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". Профили подготовки: 44.03.05.10 "Русский язык и литература", 44.03.05.36 "Русский язык и история". Протокол № 756 от 21 июня 2019 г.

УДК 398.33
ББК 83.3(2) Я73
Л 73

Рецензенты:

И.В. Евсеева, д-р филол. наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка и речевой коммуникации Сибирского федерального университета, г. Красноярск;
О.Б. Лобанова, канд. пед. наук, доцент Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского федерального университета, г. Лесосибирск.

Л 73 Локальные тексты русской литературы и культуры: учеб. пособие / В.С. Лобарева, Т.А. Бахор, О.Н. Зырянова, О.А. Кашпур, Н.А. Мазурова. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2019. – 107 с.

ISBN 978-5-7638-4170-1

В учебном пособии представлены материалы по локальным текстам русской литературы и культуры: кавказский локальный текст, столичный (петербургский, московский) локальный текст, сибирский локальный текст, а также вопросы и задания для самоподготовки, контрольно-измерительные материалы.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности подготовки 44.03.05.10 «Русский язык и литература», 44.03.05.36 «Русский язык и история».

ISBN 978-5-7638-4170-1

УДК 82 - 1/9
ББК 83.3(2) Я 73

© Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие создано коллективом авторов для обеспечения учебно-методическими материалами изучения дисциплины "Локальные тексты русской литературы и культуры".

Необходимость такого пособия продиктована содержанием основной образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 44.03.05.10 «Русский язык и литература», 44.03.05.36 «Русский язык и история». Целью изучения дисциплины является формирование профессионально значимых компетенций обучающихся.

Изучение локальных текстов русской литературы и культуры превращается в быстро развивающееся направление филологических исследований. Классическими считаются работы Ю.М. Лотмана и В.Н. Топорова по исследованию петербургского текста. В русле сформированного ими направления выполнен ряд конкретных работ по изучению семантики и структуры отдельных исторических местностей России: исследовались городская среда Архангельска, выполнено описание литературно-фольклорного образа Петрозаводска, Старой Руссы, Челябинска, Перьми, Муром и других культурно-географических мест. Создана программа исследований московского текста, в рамках которой уже выполнен целый ряд исследований. Обобщая проведенные исследования, можно выделить приоритетные локальные тексты, которые интересуют современных ученых. Это столичный текст, кавказский текст, провинциальный текст, сибирский текст. Понятие «провинциальный текст» охватывает самые разнообразные исследования текстов провинциальных локусов, которых на территории России достаточно большое количество. Самым большим провинциальным регионом России является Сибирь. Провинцией по отношению к столице выступает и Кавказ. Эти два региона, находящиеся практически в противоположных концах России, сегодня вызывают самое оживленное внимание и как развивающиеся регионы, и как регионы проблемные (по разным причинам).

Столичные и провинциальные локусы обладают разной степенью разработанности и устойчивости. Но это обстоятельство не отменяет самой возможности изучения их с помощью разных методов анализа. Предлагаемые ниже наблюдения за структурой, содержанием и порождаемыми смыслами этих локусов не претендуют на всеохватывающие характеристики. Основной целью является формирование устойчивых знаний о современной проблеме филологии и культурологии.

Выбор для изучения кавказского локального текста обусловлен его высокой разработанностью, возможностью формирования уважительного отношения к культурам народов России. Столичный локальный текст представлен петербургским и московским локальными текстами. Изучение данных текстов углубляет представление обучающихся об истории русской литературы. При изучении сибирского локального текста реализуется задача внедрения регионального компонента в учебный процесс.

В пособии раскрываются понятия «текст» и «локальный текст». Современная наука отличается двумя разнонаправленными процессами: с одной стороны, углубленным проникновением в конкретный объект изучения, с другой – укрупнением объектов, выработкой новых интегративных понятий и представлений. Одним из таких интегральных понятий стало культурологическое понятие текста. В.В. Абашев определяет текст как гибкую в своих границах, иерархизированную, но подвижно структурирующуюся систему значащих элементов, охватывающую диапазон «от единичного высказывания до многоэлементных и гетерогенных символических образований» [Абашев, с. 3].

К подобному представлению о тексте наука пришла в результате длительного развития. Понятие текста появилось в исследованиях тартуско-московской семиотической школы.

А.М. Пятигорский утверждал, что текст должен соответствовать трем условиям: «Во-первых, текстом будет считаться только сообщение, которое пространственно (т.е. оптически, акустически или каким-либо иным образом) зафиксировано. Во-вторых, текстом будет считаться только такое сообщение, пространственная фиксация которого была не случайным явлением, а необходимым средством сознательной передачи этого сообщения его автором или другими лицами. В-третьих, предполагается, что текст понятен, т.е. не нуждается в дешифровке, не содержит мешающих его пониманию лингвистических трудностей» [Пятигорский, с.45]. Очевидно, что такое определение текста применимо почти исключительно к жестко структурированным, завершенным и материально зафиксированным вербальным текстам.

С течением времени понятие текста эволюционировало, что прослеживается в работах ученого-культуролога Ю.М. Лотмана, представителя тартуской школы. В серии своих последних трудов, объединенных в книге «Культура и взрыв», Лотман обосновал понимание текста с учетом постструктуралистской парадигмы.

Отталкиваясь от представления «об отдельном, изолированном, стабильном самодовлеющем тексте», характерном для структурализма 1960-х гг., Ю.М. Лотман предложил мыслить текст не как некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные признаки, а в функциональном аспекте. Из этого следует особое представление о границах текста; так, в качестве текста может выступать и отдельное произведение, и его часть, и композиционная группа, в конечном итоге – литература в целом. При этом, подчеркивал Ю.М. Лотман, дело совсем не в том, что в понятие текста вводится количественная «возможность расширения». Принципиальное отличие нового понимания текста состоит в том, что в его понятие вводится «презумпция создателя и аудитории»: «Современная точка зрения опирается на представление о тексте как пересечении точек зрения создателя текста и аудитории. Третьим компонентом является наличие определенных структурных признаков, воспринимаемых как сигналы текста. Пересечение этих трех элементов создает оптимальные условия для восприятия объекта в качестве текста. Однако резкая выраженность некоторых из этих элементов может сопровождаться редукцией других» [Лотман, с.178-179].

Новое понимание текста в значительной степени расширило сферу его применения: текст начал использоваться для описания многообразной семиотической деятельности человека и ее результатов. Последовательным логическим звеном в развитии понятия текстуальности у Ю.М. Лотмана стала его концепция «семиосферы». Термин был образован по аналогии с понятием «ноосфера», введенным в научный язык В.И. Вернадским. Семиосфера, по Ю.М. Лотману, это «синхронное семиотическое пространство, заполняющее границы культуры и являющееся условием работы отдельных семиотических структур и, одновременно, их порождением» [Лотман, с. 4).

В рамках концепции семиосферы понятие текстуальности уже не ограничивается областью литературы и даже культуры в ее узком понимании. Оно охватывает предельно широкую сферу результатов информационно-творческого взаимодействия человека и действительности, его повседневного поведения. В частности, таким образом понятый текст и его производная – текстуальность – вполне корректно могут быть соотнесены с местом жизни человека. Следовательно, локальное место, обладающее пространственно-временными и другими характеристиками, входит в семиосферу национальной культуры как один из главных ее топосов.

Выдвинутое Ю.М. Лотманом понятие «презумпция текстуальности» как конститутивное для понимания самого текста повлияло и на трактовку таких его фундаментальных свойств, как связность и цельность. Вслед за поздними работами Ю.М. Лотмана шаги в этом направлении сделал ученый Б.М. Гаспаров. Он применил само понятие «презумпция текстуальности» в отношении нашей речевой деятельности: «Важным аспектом нашего отношения к высказыванию является тот простой факт, что мы сознаем его как «текст», то есть единый феномен, данный нам в своей целостности. «Текст» всегда имеет для нас внешние границы, оказывается заключенным в «рамку» – все равно, присутствует ли такая рамка в самом высказывании с физической очевидностью, <...> либо примысливается говорящим субъектом по отношению к определенному отрезку языкового опыта, так что этот отрезок оказывается для него выделенным в качестве целостного текста-сообщения» [Гаспаров, с. 324]. В такой «готовности, даже потребности» нашего сознания «представить себе нечто осознаваемое нами как высказывание, в качестве непосредственного и целиком обозримого феномена» и состоит презумпция текстуальности.

Б.М. Гаспаров характеризует презумпцию текстуальности как конструктивный фактор текста следующим образом: «Действие презумпции текстуальности состоит в том, что, осознав некий текст как целое, мы тем самым ищем его понимания как целого. Это «целое» может быть сколь угодно сложным и многосоставным; поиск «целостности» отнюдь не следует понимать в том смысле, что мы ищем абсолютной интеграции всех компонентов текста в какое-то единое и последовательное смысловое построение. Идея целостности... проявляется лишь в том, что какими бы разнообразными и разнородными ни были смыслы, возникающие в нашей мысли, они осознаются нами как смыслы, совместно относящиеся к данному тексту, а значит – при всей разноречивости – имеющие какое-то отношение друг к другу в рамках этого текста» [Гаспаров, с. 324].

Подход Б.М. Гаспарова к понятию текста представляется для науки не только эвристически богатым и перспективным, но и точным по существу. Он глубоко соответствует общей тенденции современного понимания того, что граница между «Я» и «Миром» вовсе не такая жесткая, как это может казаться, что активность и подвижность нашего сознания есть фактор самой реальности.

Историческая жизнь человека в пространственно-временных границах сопровождается непрерывным процессом символизации, результаты которой закрепляются в фольклоре, топонимике, исторических повествованиях, в широком многообразии речевых жанров, повествующих об этом месте, и, наконец, в художественной литературе. В стихийном и непрерывном процессе символической репрезентации формируется более или менее стабильная сетка семантических констант. Они становятся доминирующими категориями описания места и начинают по существу программировать этот процесс в качестве своего рода матрицы новых репрезентаций. Так формируется локальный текст культуры, определяющий наше восприятие и видение места, отношение к нему.

Парадигматика локального текста формируется в результате семиотизации и адсорбации:

- событий местной истории;
- явлений культуры, приуроченных к локусу;
- реалий городской архитектурной среды;
- характерных форм природного ландшафта и др.

Место и культура не нейтральны относительно друг друга, они взаимодействуют, и в сферу этого взаимодействия попадает даже самое природное начало места, его ландшафт. Он в такой же степени создание культуры, что и природы. Иначе говоря, река, лес, поле – все это не только природные формы, но и символические формы культуры, действующие формы нашего воображения и восприятия. Отсюда следует, что любую реку, будь то Волга или Енисей, можно видеть:

- и в ее природной данности;
- и как реку жизни, времени, памяти;
- и как границу миров, иного и здешнего.

Символическое восприятие столь же естественно для человека, как и «простое», не различающее знаков. Разница же заключается в самих способностях конкретного человека читать текст. Как всякая способность, способность читать текст подлежит развитию в процессе жизненной практики и вырастает, если эту способность целенаправленно развивать в процессе обучения.

Изучение локальных текстов имеет серьезный практический аспект и приложение. Подобные исследования имеют непосредственное отношение к разным сторонам жизни человека, но в первую очередь, локальный текст оказывается живой и действенной инстанцией, организующей отношения человека и среды его обитания. Его символические ресурсы включаются в процесс самоидентификации человека. Осознанное отношение к месту собственной жизни становится актуальной задачей духовного творчества.

I. КАВКАЗСКИЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

1.1. Этапы формирования кавказского текста в русской литературе и культуре

В общероссийском территориальном разделении труда Северный Кавказ специализируется на крупномасштабном производстве продукции различных отраслей агропромышленного комплекса, а также на добыче угля, нефти и природного газа, выплавке цветных и чёрных металлов, на развитии энергетического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. Северный Кавказ – район высокоразвитого сельского хозяйства, а также основной рекреационный район России. Здесь находятся известные курорты: Туапсе, Сочи и Кавказские Минеральные Воды, сосредотачивающие значительную часть лечебных и оздоровительных учреждений, пансионатов и кемпингов России. Важным объектом туризма служат Кавказские горы. Как свидетельствует статистика прошлых лет, на Северном Кавказе ежегодно отдыхает около 15 млн. чел.

Природные ландшафты Северного Кавказа многообразны. На территории региона можно выделить три зоны: равнинная (степная), предгорная и горная. Зона степей простирается от северных границ района до рек Кубани и Терека. Южнее расположена предгорная область, постепенно переходящая в систему горных хребтов, образующих Черноморский, Кубанский, Терский и Дагестанский Кавказ.

Важную роль в формировании климата Северо-Кавказского района играет его южное положение, близость к трем морям, рельеф и высота над уровнем моря. Для климата характерна широтная и вертикальная зональность, отражающая изменения температур и распределение осадков на территории региона.

Понятие географического образа позволяет выдвинуть на первый план гуманитарную сущность географии, которая заключается в том, что в данную науку все больше привлекается человек и его сознание. Это стало возможным именно в географии, потому что она изучает как чисто природные процессы, так и общественные явления. Среди последних все более значимое место занимает исследование человеческих представлений об окружающем пространстве. Это направление возможно при интеграции географии с психологией, литературой и искусством. В данном случае возникла не только география искусства или география образа жизни, но и появилась возможность говорить о таких понятиях, как географический и, в частности, геокультурный образ, который формируется в общественном сознании при восприятии какой-либо территории.

Учение о географических образах заставляет задуматься об истинном месте человека и общества в окружающей его природе. Нужно не только учитывать в географическом смысле материальные результаты человеческой деятельности, но и обратить внимание на присущее обществу субъективное восприятие географической реальности. Именно последнее является той силой, которая побуждает человека преобразовывать природу.

Геокультурный образ можно охарактеризовать как систему представлений о территории, которая строится на основе эстетического восприятия природы, этносов, социальных объектов какого-либо региона. Наиболее объемно геокультурный образ отображается в художественной литературе.

Изучение геокультурного образа Северного Кавказа важно для лучшего понимания современных проблем этого сложного в этническом, историческом и культурном смыслах региона.

В русской литературе с конца XVIII – XIX вв. можно выделить постепенно сменяющие друг друга этапы формирования и развития геокультурного образа Северного Кавказа, который доминирует в общественном сознании до сих пор. В.В. Чихичин выделяет следующие этапы:

Первый этап (конец XVIII в. – 1820 г.) – геокультурный образ Северного Кавказа отсутствует, так как сама территория еще только начинает входить в зону интересов России и в общественное сознание. О Северном Кавказе говорят М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский как о недифференцированной территории. Кавказ – это могучий горный хребет, южная опора Российской империи. «Возлегли локтем на Кавказ», – пишет Ломоносов о положении России. В эмоциональной оценке Кавказа преобладают эпитеты «дикий», «мрачный», «могучий». Что же касается этнического образа территории, то в горах, по утверждению того же В.А. Жуковского, «гнездятся и балкар, и бак, и абазек, и кумузинец, и карбулак, и амбазинец, и чеченец, и шапсуг». Как видим, это далеко от реальности, и можно сказать, что Кавказ в то время был немного мифологизирован.

Второй этап (1820 – 1840 гг.) – самый важный этап формирования и утверждения геокультурного образа Северного Кавказа. В этот период Кавказ посещают и пишут о нем А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.И. Полежаев, А.А. Бестужев – Марлинский. Очень много точечных и линейных природных и социальных объектов: гор, рек, городов. Часто в описаниях встречаются представители разных народов: черкесы, осетины, кабардинцы, чеченцы, адыги. Стоит отметить, что многие названия этносов в то время являлись своеобразными собирательными и не всегда совпадают с современными представлениями о расселении тех или иных народов. Можно выделить два «стержня» в геокультурном образе Северного Кавказа того времени: антропогенно-природный (район Терека) с преобладанием в описаниях природных линейных и точечных объектов и природно-антропогенный (Кавказские Минеральные Воды), где особое место занимают формирующиеся курорты региона: Кисловодск, Пятигорск (Горячие Воды), Ессентуки. Это указывает на приоритетность развития рекреационной функции Северного Кавказа уже в то время.

Третий этап (вторая половина XIX века) – некоторый спад интереса к Северному Кавказу, отношение к нему как к «своей территории» и незначительные дополнения к уже сформированному в предыдущий период геокультурному образу.

Четвертый этап – советский период в культуре и литературе многонационального государства. В XX в. происходит своеобразная деградация романтического образа Кавказа, созданного в романтической литературе. Романтическая традиция в восприятии кавказцев благодаря русской

классике никогда не умирала в России, но в советской культуре каноническим стал совершенно иной романтический образ. Былой образ кавказца остался чисто литературным феноменом – в значительной мере исчезла сама русская культурная среда, которая, собственно, его и создала. Возник романтизм иного плана, который подчеркивал иные доминантные черты. Образ «разбойника Чести» сменяется в советское время образцово-показательным персонажем «из семьи советских народов». Кавказец превратился в колоритный пример, подтверждающий могущество интернационализма и неизбежность расцвета социалистических наций. Более того, он становится не просто другом, но олицетворением самой советской власти. Вся комплиментарная по отношению к кавказцам советская литература восходит к тенденциозности в целом всей советской литературы и усиливается «всенародной любовью» к кавказскому вождю-диктатору, к его сапогам и тихому голосу, звеневшему в тишине тысячных залов. Его акцент, грузинская фамилия, его харизма легли тенью на всю последующую историю кавказских образов в советской культуре.

Дух российского Кавказа постсоветского периода порожден слиянием множества национальных красок. В нем и величественный нартский эпос, и сказания ашугов, и бессмертные творения Коста Хетагурова, но за ним же и Пушкин, и Лермонтов, и Бестужев-Марлинский, и Толстой. Так или иначе, но перед нами мощный культурный слой, подготовленный поколениями просветителей, этнографов, ученых, писателей и еще трудом переводчиков. Поэзию Северного Кавказа открывали для читателей многонациональной России Николай Тихонов и Арсений Тарковский, Семен Липкин и Владимир Соколов, Владимир Солоухин и Яков Козловский, Юрий Нейман и Елена Николаевская, Наум Гребнев, Михаил Синельников, Геннадий Русаков и др. Каждый перевод – это точка встречи литератур, веха в постижении наших исторических связей.

Культурным достоянием современного Кавказа является его многонациональный язык как символ кавказского текста. У каждого путешествующего на Кавказ, несмотря на уже сложившийся стереотипный комплекс представлений о нем, возникает свое прочтение «кавказского текста», обусловленное личностными ценностными ориентациями, субъективным видением мира, уровнем культуры, духовного и интеллектуального развития. Именно этот интереснейший процесс постижения «другого» во всей его противоречивости и неоднозначности наблюдается в произведениях, входящих в проблемно-тематическое поле «кавказского текста». Кавказская символика, весьма притягательная и многослойная, требует для своего понимания пристального взгляда познающего. За конкретным объектом едва ли не каждый раз можно увидеть опыт истории живущих здесь народов, воплощенный в памятниках духовно-материальной культуры. Изучение и осмысление «кавказского» текста в историко-функциональном аспекте составляют актуальную проблему в современной филологии. Нравственно-эстетический потенциал культурных памятников, составляющих «кавказский» текст, не вызывает сомнений.

1.2. Взаимоотношения России и Кавказа в кавказском локальном тексте русской литературы и культуры

Вот уже полтора столетия разворачивается драматический диалог, который можно назвать историей любви и ненависти, взаимного влечения и столь же взаимного отторжения, настолько богата палитра русских чувств, связанных с Кавказом, и чувств кавказских, связанных с Россией. Представляется, что сегодня в привычном «балансе любви и ненависти» происходят существенные сдвиги; серьезно изменяется устоявшееся в советское время и привычное расположение Кавказа в России, а вместе с ним меняются и доминирующие в массовом сознании образы кавказцев и русских. Такой сдвиг актуализировал историю русско-кавказских отношений, она как бы проигрывается вновь и вновь – снова «абречество», «злой чечен ползет на берег», снова горят аулы и поднимается зеленое знамя. Меняется «ниша Кавказа» в России, меняется русское присутствие на Кавказе. Невозможно привести какой-либо полный перечень чувств, сопутствующих этим событиям и процессам, или, как было бы уместно здесь сказать, перечень этнических и культурных стереотипов, фобий и т.д. Можно лишь обозначить некоторые важнейшие модельные, типичные конструкции, традиционные культурные образы, которые бытуют в массовом сознании, в публицистике или в художественных произведениях. Эти конструкции играют и сегодня роль некой системы координат, позволяющей обеим сторонам узнавать друг друга.

С именем М. Лермонтова и Л. Толстого в русской литературе XIX века связан тот аспект «кавказского» текста, который хотя и сопрягается с отображением кавказской действительности в русской литературе, но дает основание задуматься о Кавказе не в роли отображаемого объекта, а в роли исторической реальности, воздействующей на самую русскую литературу. Романтический образ горца наиболее ярко представлен в русской классической литературе. Этическое ядро этого образа – свобода и честь, понимаемая по-особому на Кавказе, воинственное достоинство и благородство разбойника. Доминанта свободы и чести-достоинства ощущается во всем – в понимании смысла жизни, в принципах, на которых строятся человеческие отношения (как дружеские, так и вражеские), в характере и характеристиках хозяйственных занятий, в манере «держаться», даже в манере одеваться.

Д. Мережковский в статье «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909) писал о том, что стихотворение Лермонтова «Валерик» – первое во всемирной литературе явление того «особенного русского взгляда на войну», который так бесконечно углубил Л. Толстой. Сходство «Валерика» с рассказом «Набег» Толстого очевидно. Мирные татары здесь и там. Вся обстановка, реализм подробностей, знаменитое рассуждение Лермонтова: «Я думал: жалкий человек// Чего он хочет!.. Небо ясно.// Под небом места много всем.// Но беспрестанно и напрасно.// Один враждует он зачем?» –

повторяется у Толстого так: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?». Для художественного выявления такого «особенного русского взгляда на войну» и для Лермонтова, и для Толстого был, конечно, их непосредственный личный военный опыт кавказской войны (к Крымской войне у Толстого такой взгляд в основном уже сложился). Объективно именно кавказская война, тянувшаяся десятки лет, давала Лермонтову возможность постичь такой сурово-будничной, прозаический характер войны в отличие от героико-поэтической «грозы двенадцатого года» и последующих триумфов русской армии в Европе в 1813 – 1815 гг.

Суждение Д. Мережковского может быть скорректировано единственным замечанием: немаловажную роль в развитии военно-романтической прозы в русской литературе сыграл и декабрист, высланный на Кавказ в действующую армию, А. Бестужев-Марлинский. Безусловно, основное внимание в этой прозе авторы уделяют образам горцев, через которых передают свое понимание Кавказа как геокультурного пространства и его роли в историческом развитии России.

В повести А. Бестужева-Марлинского «Мулла-Нур» содержатся пространные описания кавказцев. Например, романтически влюбленный юноша Искандер-бек изображается как почти трагическая личность: «Искандер-бек, прекрасный, нравственный юноша, родился уже во время владычества русских над Дагестаном, но он всосал к ним ненависть с молоком матери и с речами отца. Отец его... умер в 1826 году, убитый известием, что персиане, которых нетерпеливо ждал он в Дербент, прогнаны из Кубы; но, умирая, завещал сыну – не служить русским и не дружить с дербентцами. ... И он умер, но его поверья, его пристрастия и предрассудки ожили в сыне. ... Его мечты и сожаления о самовласти ханов, о разгульной жизни подвластных им беков, об удачных набегах на соседние земли, – одним словом, о рыцарских временах, когда меткое ружье, лихой конь и отвага могли доставить человеку все, чего жаждала душа его, были чересчур дики». И далее: «...исключительная гордость его страдала равенством перед законами; возвышение в чины из недворян, по заслугам, а не по роду, считал он личною обидою и, разлученный, таким образом, от русских и татар двумя враждами, заперся в одиночестве добровольно».

Гордость и надменное отношение к русским составляют доминанты образа Хаджи-Мурата в одноименной повести Л.Н. Толстого: «Он подъехал к Бутлеру и подал ему руку, на двух пальцах которой висела плеть». Особое внимание автор в данном описании отводит «плетям», находящейся на руке, которой он здоровается с русским офицером. Или: «Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался».

Отношение Хаджи-Мурата к его русским знакомым очень ясно определилось. Так, к любящему выпить Ивану Матвеевичу «Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним». Выразительной является и другая сцена из повести: Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат за службу в русской армии получал по пять золотых в день), «он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-

Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плечи и пошел из комнаты.

– Что с ним станешь делать, – сказал пристав. – Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь».

Подчеркивая воинственный характер горцев, русские писатели особое внимание уделяли их оружию. Они замечали, что именно оружие является самым дорогим достоянием воина. Об этом говорил М. Лермонтов, рисуя образ Казбича в романе «Герой нашего времени». Об этом писал Л. Толстой в повести «Казачья»: «На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который бросается в глаза казаку или горцу».

Набеги горцев и грабежи на русской кордонной линии обернуты русскими писателями в одеяние диких, но «достойных», подлинно мужских занятий, по меньшей мере, оправданных свободой. «Им бог – свобода, их закон – война; они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных». Участие в набеге свидетельствует об удачливости, мужественности и чести. Набег изображался не просто как грабеж, налет, а поход, мужское предприятие, возможность показать свою доблесть и тем самым подтвердить свой социальный статус или повысить его. Не столько жажда добычи влекла горца, сколько жажда славы – как реализация смысла жизни. На лихом коне, всегда щегольски вооруженный, он покидал семью и пускался в набег, как на праздник. Не все возвращались из этих набегов, но это не останавливало других, искавших не одной добычи, а славы и известности. Широко известна «Казачья колыбельная песня» М.Ю. Лермонтова, которая отражает поведение воина-чеченца и постоянную готовность казаков принять удар:

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою;
Спи малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.

Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю....
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Эту особенность жизни кавказских воинов (и собственно кавказцев и русских казаков) подмечали многие русские авторы. А. Пушкин в поэме «Кавказский пленник» повествует о том, как возвращаются черкесы из «похода», как их ожидают семьи, жены и дети, как устраивается праздник. В кругу семьи они такие же, как и русские.

А. Марлинский в своих повестях довольно подробно раскрывает причины набегов. Так, герой повести «Аммалат-бек» рассказывает о своих отношениях с русскими следующее: «Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня, и я был верен, покуда от меня не потребовали невозможного или унижительного. И вдруг потребовали, чтобы я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев, братьев моих!... Я был лично, кровно обижен письмом одного вашего генерала, когда предостерегал его... Ему дорого стоила в Башлах дерзость... Реку крови пролил я за несколько капель бранчливых чернил, и эта река делит меня навечно с вами». Другой герой рассуждает о русских как сдерживающей набеги силе: «По правде тебе сказать, Искандер-бек, не будь над нами этих гяуров, не сидели бы мы, молодцы, за стенами. Ружья за плечи, ногу в стремя, и чуть улитка-месяц покажет рожки свои – берегись караваны!». Хотя и содержится некоторое преувеличение в словах спутника Искандер-бека – Гаджи-Юсуфа, но, думается, об этом мечтали практически все горцы. Субъект этого восприятия постигает «неподлинность» собственной наличной культуры, ее лицемерие и ложь, он ищет на Кавказе отзвук своей «тоски» по иному человеческому канону, иному герою своего времени, другому человеку, нежели человек, бьющийся в бессмысленности тягучей среднерусской жизни. И ему кажется, что он слышит этот отзвук в диком воинственном этносе горцев. Кавказец – это тайна достоинства, его шифр, который должен быть выпитан-прочитан – в сражении ли с ним, в дружбе и куначестве – все равно. Русский находит то, что ищет: подлинность чувств. Их испытание часто стоит жизни. Подлинность ненависти, мужества, слова и молчания. Нужно быть всегда начеку, каждый взгляд,

каждый жест, каждый поступок решающий и потому подлинный. Для самого русского горец есть натура цельная, данность, не требующая коррекции. Здесь дикость и аристократизм – одно, цивилизация лишь разрушает их тождество, сплавленное в особой воле к жизни и придающее существованию первозданные напряжение и красоту. Горский «репей», одиноко торчащий среди унылых полей рутинной нравственности и внутриимперского самоощущения, есть символ этой особой воли к жизни.

Жизнь горца в романтическом русском восприятии – это постоянное утверждение достоинства, следование Закону набега, гостеприимства, кровомщения, почитания старших, страха проявить трусость. Этот Закон достоинства должен быть воплощен во всем, в каждом повороте судьбы, в каждом слове, даже в том, как выглядит горец, как должен выглядеть «удалец». Итак, романтический образ воина-кавказца имеет устойчивые характеристики, главная из которых готовность вступить в конфликтные отношения с русскими, лишиться других каких-то материальных ценностей для себя и для своей семьи. Праздность, бедность, вероломство выступают в романтических образах лишь как черты, позволяющие обострить ведущую роль других – позитивных – характеристик. Отсюда праздность – это время набеговых, рискованных замыслов, бедность – отсутствие меркантильного расчета, вероломство – как бы напоминание другим: «не спи, казак, во тьме ночной чеченец ходит за рекой». Рефрен «чеченец за рекой» подчеркивает красоту их жизни в риске, обостренность жизни под этой вечной угрозой быть пойманным.

Отношение кавказцев к русским составляет один из важных контекстов произведений XIX в. о Кавказе. Реальные события показывали, что отношения были противоречивыми: с одними кавказцами русские ладили, с другими – находились в непримиримой вражде. Писатели-прозаики и поэты пытаются разобраться в причинах этих противоречий и ищут их не только в кавказцах, но и в русских.

А. Бестужев-Марлинский в повести «Аммалат-бек» изображает несколько драматических ситуаций, способствующих развитию противоречий между русскими и кавказцами. Безусловно, главной причиной является та, что русские против их воли пришли на Кавказ. «Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им они решаются не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства». Султан -Ахмет - хан, герой повести, возмущал толпу речами против русских. «Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? – слышалось отовсюду».

Об этом же писал М.Ю. Лермонтов в поэме «Измаил-бей»:

Аул, где детство он провел,
Мечети, кровы мирных сел –
Все уничтожил русский воин.

Нет, нет, не будет он спокоен,
Пока из белых их костей
Векам грядущим в поученье
Он не воздвигнет мавзолеей
И так отмстит за унижение
Любезной родины своей.

В повести Л. Толстого тоже изображается сцена разговора местных жителей о пребывании русских на их земле: «Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мучицких сено сожгли, раздери их лицо, – злобно прохрипел старик». Хаджи-Мурат рассказывает о своих жизненных перипетиях русскому военному чиновнику: «Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном... просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. ... После Тифлиса мысли мои переменились, и стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават».

Недоверие русским офицерам демонстрирует Хаджи-Мурат и в разговоре с чиновником, которому доверяет больше других: «Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закут и сошлют в Сибирь или просто убьют. И потому был настороже». Таким образом, изображая социально-исторические события на Кавказе, русские писатели склоняют читателей к пониманию того, как сложно установить какие-то отношения с кавказцами. И причина здесь не только в разности природных характеров.

Главное противоречие заключается в том, что кавказцы в своих отношениях с русскими преследуют только личные (или родовые) цели. Они вступают в переговоры, переходят на службу в русскую армию, участвуют в сражениях против «своих» только потому, что это им выгодно: они спасают жизнь родным, они получают какую-то поддержку в решении личных проблем (русские помогают заполучить невесту), они мстят за обиду и пролитую кровь своим бывшим ханам. Л. Толстой в цитируемой повести создает довольно откровенный в своем цинизме монолог Хаджи-Мурата о его отношениях с русскими. Он хотел отомстить Гамзату за кровь ханских сыновей, которые были ему названными братьями (их вскормила грудью его мать): «Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. ...». Они убили Гамзата, на его место стал Шамиль, на нем тоже была кровь ханов. Мурат обратился за помощью к русским, которые дали ему чин офицера и назначили правителем в Аварии. Но до этого правителем был Ахмет-хан. Последний стал писать на Мурата доносы, обвиняя в измене (якобы не велел «аварцам давать дров

русским солдатам»). Потом арестовал Мурата, держал на цепи, он бежал, не поверил генералу Клюгенау, не пришел с разъяснениями о своем недоверии, хотел сам отомстить Ахмет-хану за то, что в русском плену был обесчещен: один из солдат на...л на него. Шамиль пообещал ему расправиться с Ахмет-ханом – и он к нему перешел. «И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими», – признается Мурат». Почему поссорился с Шамилем? Его спросили, кто будет имамом после Шамиля, он сказал: «У кого шашка востра». За эти слова Шамиль его возненавидел, решил извести. Отобрал все богатство, Мурат убежал, снова пришел к русским. Но семья осталась в заложниках. Теперь только русские смогут ему помочь освободить семью.

Так, совсем не политические взгляды определяют поведение героя, а его стремление жить со своей семьей. Кавказцам не свойственны интересы общественные. Они лишены гражданских чувств, и их слова о защите своей земли от русских сводятся к защите самого себя и своего рода. В этом и заключается их свобода, понимание чести и воинская доблесть.

Самым драматичным произведением о кавказских военных событиях является стихотворение М.Ю. Лермонтова «Валерик» («Я к вам пишу случайно; право...»). В этом ироничном послании запечатлен один из эпизодов Кавказской войны, связанный с боевыми действиями отряда генерал-лейтенанта А.В. Галафеева в Чечне, – бой на речке Валерик (11 июля 1840 г.), в котором Лермонтов принимал участие. По свидетельству одного офицера-артиллериста, поэт, «заметив опасное положение артиллерии, подоспел... со своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами». Рассказ Лермонтова о Валерикском бое очень близок описанию сражения, содержащемуся в «Журнале военных действий» отряда Галафеева. Само название стихотворения происходит от названия реки Валерик – притока Сунжи, впадающей в Терек. В переводе на русский язык слово означает «река смерти».

Как и в стихотворении «Бородино», в этом тексте содержится воспоминание о прежних сражениях:

Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалось и нам;...

После воспоминаний описывается будничная жизнь русского отряда:

И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз...
Чу – дальний выстрел! Прожужжала
Шальная пуля...славный звук...

Вот крик – и снова все вокруг
Затихло...
Подъем ударил барабан –
Гудит музыка полковая;...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;...
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет – где отважный?
Кто выйдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко...выстрел...легкий дым...
Эй вы, станичники, за ним...
Что? Ранен!.. – Ничего, безделка... -
И завязалась перестрелка...
Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовались на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет...

Но бескровные перестрелки сменяются кровавыми сражениями, когда горцы совершают организованные набеги:

...и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.

[Лермонтов, т. 1, с. 204]

Нарисованная картина выглядит натуралистической, но, с другой стороны, по свидетельству участников этого сражения, реальная картина выглядела не менее ужасной: поэт ничего не драматизировал и не идеализировал. Организованные набеги – это жуткое по своей жестокости деяние

горцев, за которое расплачивались потом их дети, старики, жены, потому что русская армия проводила вслед за ними карательные мероприятия, не менее жестокие по отношению к мирному населению.

В другом произведении – «Измаил-бей» – поэт изображает циничный образ воина-горца, который способен в любой момент на предательство, чтобы потешить свое самолюбие:

И умный князь, лукавый Росланбек,
Склонялся перед русскими смиренно,
А между тем с отважною толпой
Станицы разорял во тьме ночной;
И, возвратясь в аул, на пир кровавый
Он пленников дрожащих приводил,
И уверял их в дружбе, и шутил,
И головы рубил им для забавы.

[Лермонтов, т. 1, с. 344]

В несколько сочувственно-ироничном тоне описывал и А.С. Пушкин повседневное «окопное сидение» русских и горцев в стихотворении «Делибаш»:

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш, не суйся к лаве,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.

Эй, казак!
Не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблю кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

[Пушкин, т. 2, с. 162]

Военные набеги кавказцы совершали преимущественно с целью получения какой-то материальной прибыли: они отбивали обозы с продовольствием или грабили складские помещения. Но немаловажный доход получали за выкуп пленных. Эта реальность способствовала развитию в военной прозе мотива пленения. В поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» эта сцена описана так:

Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» – хищник возопил,
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.

.....
Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.

И далее он вспоминает, с какой радостью он ехал на Кавказ:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

[Пушкин, т. 3, с. 77-79]

М.Ю. Лермонтов практически повторил Пушкина в одноименной поэме:

Уж раздалось мычанье стад
И ржанье табунов веселых;
Они с полей идут назад...
Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники молодые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло
Черкесов тучные стада,

Вспоминая то, что было,
И что не будет никогда!...
Несчастные! В чужом краю!
Исчезли сердца упованья;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою.

.....
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно седока!

.....
Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника с собой.
Гирей приблизился – веревкой
Был связан русский, чуть живой.
Черкес спрыгнул, рукою ловкой
Разрезывал канат; но он
Лежал на камне – смертный сон
Летал над юной головою...

[Лермонтов, т. 1, с. 233-235]

В заключительной части повести А. Бестужева-Марлинского пленником оказывается Аммалатбек. Его берет в плен артиллерист Верховский, брат убитого Аммалатом русского офицера: « Попал, убил! – закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. <...> Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу: он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. <...> Артиллерист... приподнял голову несчастного, sprыснул ему в лицо холодной водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство».

В рассказе Л.Н. Толстого мотив плена лишается своего романтического ореола и отражает лишь «прозу» жизни: на Кавказе пленный русский офицер – большая удача: «Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие посадили Жилина к нему на седло; а чтобы не

упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.<...>Жилину было велено писать письмо домой, чтобы за него выкуп прислали. «А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью».

Важную роль в мотиве плена играют женские персонажи. В поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» черкешенка приходила к нему по ночам, приносила пищу, проводила с ним время, постоянно рискуя своей жизнью, потому что суровы на расправу горцы. Но она не простая девушка, знает свою власть, поэтому не очень боится за себя, но боится за пленника. После того как она поняла, что пленнику ее любовь не нужна, она решилась на поступок: помогла ему бежать. Сама же прыгнула в бурную горную речку. Сильный характер, страстная натура, она не раба своего чувства, горда и решительна. Она способна на жертву ради того, кого избрала. Не отходя практически от сюжета пушкинской поэмы, Лермонтов также написал своего «Кавказского пленника». История отношений пленника и черкешенки развиваются так:

Вдруг видит он перед собою:
С улыбкой жалости немой
Стоит черкешенка младая!
Дает заботливой рукой
Хлеб и кумыс прохладный свой,
Пред ним колена преклоняя.
.....
Четверту ночь к нему ходила
Она и пищу приносила;
Но пленник часто все молчал,
Словам печальным не внимал.
.....
Но кто печальною стопой
Идет один тропой гористой?
Она... с кинжалом и пилой...

[Лермонтов, т. 1, с. 241, 244]

Черкешенка его освобождает, пленник уходит, в него стреляют черкесы, он умирает, она от горя бросается в волны Терека. Лермонтов усложняет драму черкешенки: убийцей русского пленника был ее отец – «седой старик». Так, кавказские дочери оказываются на стороне русских пленников.

Эту традиционный мотив получил развитие и в рассказе Л. Толстого «Кавказский пленник». В нем повествуется о двух русских офицерах, попавших в плен по своей неосторожности, то есть небрежного отношения к недремлющему врагу. Когда Жилин и Костылин сидели в сарае и яме, к ним приходила дочь хозяина: «Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама

смеется, показывает на кувшин.<...>Выпил он молоко, «хорошо», – говорит. Как возрадуется Дина». Или: «Вдруг слышит – зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат.<...>Глазенки так и блестят, как звездочки; вынула из рукава две сырны лепешки, бросила ему». В последний раз она принесла шест: «Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху – шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму».

Мотив помощи в плену раскрывается в анализируемых произведениях и с другой стороны. Как в повести Марлинского «Аммалат-бек», так и в повести «Хаджи-Мурат» герои-горцы попадают в круг русских офицеров как их союзники, «мирные». Русские женщины замечают их красоту, мужественность, опрятность в одежде. Они склоняют мужчин к доверительным отношениям к ним и искренне сочувствуют тому, что герои гибнут.

Так, в повести Толстого «Хаджи-Мурат» «молодой Воронцов не доложил старшему начальству в лице Меллера-Закомельского о том, что к русским вышел Хаджи-Мурат. Генерал высказал ему все, что накопело. В это время шурша юбками, вошла Марья Васильевна...

– Ну полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности, – заговорила Марья Васильевна... И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка... Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга».

Марья Дмитриевна (домоправительница майора Ивана Матвеевича), «очевидно, питала особенные чувства и уважения, и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже ...пользовалась всяким случаем увидеть его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах о его семье,... и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров». После того как при расставании Хаджи-Мурат подарил ей бурку, она не однажды причитала: «Дай бог вам сына выручить... Дай бог, дай бог семью выручить». На слова Петроковского о нем как о плуте она возразила: «Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было. Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали... Обходительный, умный, справедливый... Он татарин, а хороший».

Мотивированность поступков женских персонажей в произведениях авторами ослаблена, но, думается, в качестве одной из причин можно назвать их объективный взгляд на войну и место в ней женщины. Женщина не воин, она мать и жена, в этом ее предназначение. Она помогает несчастному пленному (или вступающему в мирные отношения) и потому, что последний уже не угрожает ее мужу или брату – он слабее их.

Без присутствия этих романтических персонажей военная проза не была бы столь привлекательной для читателей. Практически все перипетии в судьбах горцев (Казбича, Аммалата, Мулла-Нура, Искандер-бека, Хаджи-Мурата и др.) вызваны влиянием на них женщин. Отсюда следует,

что многих кровопролитий можно было бы избежать, если бы женщина на Кавказе не воспринималась мужчинами как вещь, которую можно купить, украсть, продать.

В «кавказский» текст «вписываются» и такие герои произведений, которые не относятся к представителям этносов Кавказа, но пребывают на Кавказе. Это русские офицеры, путешественники или разочарованные странники. Для русского, стремящегося проверить себя Кавказом, что он сам собою представляет, Кавказ есть вызов, возможность «очищения», слома рутины прежней жизни. Война обещает особое напряжение судьбы, другую жизнь, где все иначе, все покоится на иных основаниях. Кавказ видится возвращением к подлинным, архаичным или необычным измерениям – достоинства, красоты, верности, смерти. Кавказ – это соблазн свободы и бытия свободным, одиноким рыцарем, без пошлого расчета, без цели, которая была бы за пределами доблести и потому фальшива. Кавказский воин-разбойник воспринимается в воображении таких романтиков как воплощенная свобода, в этом смысле он становится для русского почти учителем. Но в реальных отношениях идеализируемые свободные воины раскрывают свои скрытые от прямого взгляда свойства характера. Так, в повести «Аммалат-бек» русский офицер Верховский упрекает Аммалата за его притворство перед разбойниками, с которыми они случайно столкнулись, покинув отряд (Аммалат стал уверять врагов, что он не друг русских – так он спасал себя и русского друга). На упрек Верховского Аммалат ответил следующее: «Чудный вы человек, полковник... Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, истерил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкупу».

Как противоположность Аммалату Марлинский рисует образ русского офицера Верховского, который интересы государственные ставит выше интересов личных. Верховского в своих записках Аммалат характеризует так: «Зато какой ледяной любовник! Этого мало... Недавно, к счастью ли, к несчастью ли его, умер его приятель-соперник. И что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов. Уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своею добротою, понять страсть мою!». Развитие этой дружбы русского офицера и кавказского юноши-воина заканчивается драматично: из-за названной выше страсти к девушке Аммалат идет на ужасное преступление: он принимает предложение Ахмет-хана убить Верховского, и за это хан выдаст за него свою дочь. Автор изображает ужасные сцены расправы бывшего друга над своим спасителем. Сначала он застрелил его почти в упор, но не успел срубить головы. Спустя время он раскопал могилу Верховского и отрубил голову у покойного. Когда привез уже покрытую червями голову Верховского хану, тот уже никак не реагировал на Аммалата: он находился в предсмертной агонии. Так, совершенное злодеяние не способствовало достижению цели: Салтанета не могла принять такого «колыма» и отреклась от любимого Аммалата. Этот пример наиболее ярко раскрывает позицию автора

по отношению к кавказской дружбе, чести и слову. Если какие-то условности мешают реализации собственного желания, кавказец их отринет, преступит нравственные законы, предаст не только друга, но и всех покровителей, доверявших ему. Он не злодей, он просто по природе своей лишен гражданского чувства.

В связи с этим уместно привести слова Верховского: «Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою». Следует отметить, что мотив срубленной головы является довольно устойчивым в анализируемых текстах. В другой повести Марлинского («Мулла-Нур») автор рассказывает: «Выбив неприятеля из виноградников, мы отступали с успехом, но в беспорядке, как водится у азиатцев. Две срубленные головы воткнуты были на отнятое знамя, одна на другую, и дербентцы с криками торжества скакали около кровавого трофея». В другой сцене герой повести Искандер сетует о погибшем юном друге: «Погнался за кистью винограда и заплатил головою. В глазах наших лезгины резали ему шею, и я не мог прогнать, не мог умолить товарищей ударить на выручку его тела. ... Мы бросили его на поругание». И далее: «... мы тихо вынесли, на плечах своих, обезглавленный, обнаженный труп несчастного и положили у ворот. С воплем, раздирающим душу, упала на него мать».

В повести Л. Толстого рассказывается, как отрубили голову Хаджи-Мурату за то, что он хотел сбежать из крепости, и показывали ее всем солдатам и офицерам: «Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем». Толстой воспроизводит ужасную по своей жестокости сцену расправы над Хаджи-Муратом: «Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ... враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою». Автор показывает, что русские не отрубают головы, эту военную «расправу» над врагом могут производить только сами кавказцы.

Главными причинами, поставивших туземцев и казаков в такое положение, что они готовы постоянно резать друг друга, выступают причины социально-экономические: несравненно менее выгодные экономические условия горцев в сравнении с казаками, приводящие к сильной зависимости первых от вторых. Кроме того, это не всегда законное отношение представителей полиции и судебной следственной власти русских к преступлениям против личности кавказца и стремление разоружить горцев, а также особенности горского управления и отсутствие школ, где бы дети не только учились джигитовке и обращению с оружием, но привыкали бы к каждодневному упорядоченному труду.

Все это невольно приводило к разрыву между коренными кавказцами и русской частью населения Кавказа. В подтверждение того, что кавказцы могут оценивать благородство русских, говорит следующий пассаж из повести Марлинского «Мулла-Нур»: на решение коменданта отпустить

Искандер-бека до решения суда юноша отреагировал так, что «слезы, сладкие слезы благодарности брызнули из очей растроганного юноши. Никогда не ожидал он от русского, от начальника, такого великодушия, и тем сильнее оно на него подействовало. Он готов был пасть на колена перед комендантом, поцеловать его руку как у отца, рассказать тайну любви своей».

Описываемые в произведениях события являются результатом взаимодействия разных причин и по-разному понимаются кавказцами и русскими. Если первые воспринимают все драматические события как необходимость и лишь готовятся к следующим испытаниям с большим азартом воина, то русским свойственно проявление такого чувства, как совесть.

О Хаджи-Мурате все русские сожалели, особенно женская половина, одна из них назвала офицеров «живорезами», о сочувствии судьбе Амалата рассказывал и Марлинский: «Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средства его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену, и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за несчастного». Так, герой, как следует из приведенной цитаты, не однажды предавал русских, а они его все же жалеют.

Аммалат-бек, по мнению Верховского, «имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча, и от адской искры. Природа подарила ему все, чтобы быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтобы изурочить, изувечить эти дары природы. Ум его – чудное смешение разных несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых». В письме к Вере он же рассуждает: «Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с материнским молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевшей Азербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки... делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, – вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом». Из другого письма Верховского: «Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования: она решительно принадлежит не времени, а месту. ... Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния... Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда».

Симпатии к горцам отнюдь не ограничивались художественным романтизмом или рамками поэтического восприятия Кавказа, они отчетливо выражены в исследовательской и публицистической

литературе. Так же как и военно-художественные образы горцев, публицистические интерпретации содержат критическую рефлексию на отрицательные черты русской колонизации Северного Кавказа. В анализе этой колонизации меняется роль казачества как ее проводника. Оно уже представлено не столько вольным, сколько служилым государственным сословием: раньше это «волюшка» и станичники-братцы, теперь — служба и царь-батюшка. Новый образ горцев, далекий от эпического восхищения романтических поэтов и писателей XIX в., также получает развитие в беллетристике и публицистике. Авторы отмечают взаимную ненависть, которую питают друг к другу казаки и горцы. Ненависть эта проявляется в их чувствах и воззрениях, в тысячах столкновений тех и других друг с другом.

Тема Кавказа в русской современной литературе – это не только отражение (воссоздание, воспроизведение) кавказской жизни, тех или иных ее сторон. Это и сложившееся сегодня представление о феномене Кавказа, выступающее в роли некой многогранной словесной символики, служащей средством для изображения и выражения отнюдь не только кавказской действительности. Кавказская тема выступает не только в роли «означаемого», но и в роли «означающего», если прибегнуть к структуралистской терминологии.

Северный Кавказ – часть судьбы известного отечественного писателя Анатолия Приставкина, автора повести «Ночевала тучка золотая». Чечня, судя по биографии и по содержанию знаменитой повести, стала для Анатолия Приставкина больной темой. В одном из своих интервью писатель сказал: «Прикоснувшись к этой теме лично и испытав все, о чем я написал в повести, я уже потом встречался с чеченцами, ездил туда и проникся невероятным уважением к этой прекрасной трудолюбивой нации... У меня есть студент, живущий у себя дома. На вопрос, по какому адресу ему писать, он отвечает: пиши – Грозный, пепелище. У него трое ребятишек. Где-то в землянке живут».

Успех своей повести «Ночевала тучка золотая», вышедшей в свет в конце 1980-х, Анатолий Приставкин считает чуть ли не случайным и уж точно избыточным. Его «Тучка...» – жестокая в своей откровенности и дерзкая в своем опережающем времени гуманизме книга.

Как и его маленькие герои, Приставкин прошел через Великую Отечественную войну, и этот опыт на всю жизнь определил его ненависть к милитаризму, к жестокому, бессмысленному насилию, презрение к государственному устройству, которое благословляет смертоубийственные боины, уничтожение целых народов.

У братьев-близнецов Кольки и Сашки Кузьминых в повести «Ночевала тучка золотая» была самая заветная и несбыточная мечта – увидеть гору хлеба, «вдохнуть не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах... Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует... и можно терпеть, и молчать, и жить дальше». Родители у Кузьменышей, как и у большинства детдомовцев, где-то в прошлом, в другой жизни, они умерли или на фронте. И эти малолетние старички ни с кем и ни с чем не связаны по-настоящему, они свободны от многих зависимостей и

предрассудков, но этой одинокой свободе вряд ли позавидуешь. Они, Колька и Сашка, единое целое друг для друга и ни для кого больше. Дети находятся в потрясенном мире, где правят блатяги, «из тех, кто, сбежав от милиции, царствовали в этот период в детдоме». И вот братья волею судеб оказываются на Кавказе. В пути на одной из станций Колька увидел в тупике странные вагоны, которые следовали в противоположном направлении и тщательно охранялись солдатами. Из теплушки мальчишку позвали: «Хи» (в самом скором времени он будет знать это слово «хи» – вода). Кто эти люди в вагонах? Почему их так стерегут?

Так начинается предыстория, пролог кавказской трагедии, непосредственными участниками которой станут Колька и Сашка Кузьмины. Один из братьев, Сашка, погибает. Кольке чудом удается спастись. И этим спасением стала встреча с чеченским мальчиком Алхазуром. С тех пор мальчишки были неразлучны. «Теперь ты мой брат, – сказал, подумав, Колька, – Сашка Кузьмин – вот ты кто теперь!»

Кавказская жизнь Кузьменышей закончилась так же внезапно, как и началась. Судьба оборвала жизнь одного и даровала ее другому... Логика войны такова: смертью одного утверждает жизнь другого. Прерванная на лету жизнь словно продолжает свое существование в тех людях, во имя которых принесена жертва. Убитый передает выпавшую из его рук эстафету живому, чтобы жизнь не иссякла, чтобы она продолжалась бесконечно. Анатолий Приставкин своей повестью заставляет задуматься над странными зигзагами истории, над тем, что развитие человечества не всегда идет по поступательной, восходящей линии. Зло, варварство, дикость, кровожадность, однажды побежденные, спустя определенное время, воскрешаются вновь из пепла, вновь наступают на прогрессивные завоевания мировой цивилизации.

В чем же разгадка этого чудовищного, на первый взгляд, явления? Из каких темных глубин прорываются на поверхность жестокость, бесчеловечность, корыстолюбие? Тайна нового рождения чингисханов, тимуров, аттил не в том, что движение истории через определенные ступени вновь возвращается к исходному рубежу, самоповторяясь. Силы, рождавшие и поощрявшие грабителей, насильников, угнетателей, не уничтожены.

Два загнанных, одичавших, погибающих от голода мальчишки, русский и чеченец, брошенные поодиночке в обезлюдивший после депортации мирных жителей город Северного Кавказа, несхожие ни обликом, ни языком, встретившись и выживая вместе, объявляют себя братьями и заставляют взрослых, собирающихся их разлучить, отступить перед их «неправдой», устыдиться своего намерения.

О том, что Кавказ – это образ жизни многих русских людей, красноречиво говорят события последних лет. Тема Кавказа никогда не сходила со страниц русской литературы, но на рубеже двух тысячелетий приобрела снова современное звучание. Если вернуться к теме Кавказа в прямом смысле, то надо будет отметить, что кавказская война – самое заметное постоянное событие,

нарушающее спокойное течение российской истории. Характерно, что в советское время как бы заново происходило открытие Кавказа в русской литературе. Знаменательно высказывание Б. Пастернака начала 1930-х гг.: «Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло». И это «удивительное» родило до удивительного точную поэтическую формулу:

И мы пойдем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.
Чтобы, сложившись среди бескормиц
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Кавказ – это «алмаз» со множеством «граней» в венце русской культуры и литературы. В иных своих аспектах литературная «тема Кавказа» оборачивается неотрывной темой самой русской жизни и русской судьбы – так распорядилась история.

Вопросы и задания:

1) прочитайте повесть «Хаджи-Мурат» и составьте на основе сюжета план-конспект жизнеописания Хаджи-Мурата (где родился и вырос, в какой семье воспитывался, как вступил на «тропу войны» с русскими, какие перипетии на ней пережил, как погиб); выделите в тексте описания быта кавказцев, религиозных обрядов, культурных традиций. Раскройте авторское отношение к указанным явлениям;) выделите в тексте описания природы Кавказа. Ответьте на вопрос: почему автор для характеристики образа Хаджи-Мурата использовал символический образ репейника.

2) познакомьтесь с содержанием кавказского текста представленного в стихотворениях А.С. Пушкина («Я видел Азии бесплодные пределы», «Кавказ», «Делибаш») и М. Ю. Лермонтова («Кавказская колыбельная», «Прощание», «Сон»); выделите в указанных стихотворениях поэтов доминирующие характеристики Кавказа (горы, ущелья, растения, небо, солнце, реки, люди, события и пр.); раскройте лирический пафос (эмоционально-логическую оценку) в одном из стихотворений (по выбору);

3) прочитайте повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» и приготовьтесь к беседе по следующим вопросам: а) какими деталями представлен кавказский текст в повести «Ночевала тучка золотая»; б) какие качества кавказцев проявляются в повседневных и экстремальных ситуациях; в) почему автор выбрал детские персонажи для раскрытия далеко не детских вопросов?

3) Определите традиции кавказского текста в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный»: а) тема кавказского плена в поэме А. С. Пушкина «Кавказский пленник»; б) тема кавказского плена в поэме М. Ю. Лермонтова «Кавказский пленник»; в) тема плена в повести В. Маканина «Кавказский пленный»;

II. СТОЛИЧНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

2.1. Петербургский локальный текст русской литературы и культуры

Город Санкт-Петербург занимает особое и исключительно важное место в истории вообще и в истории культуры в частности. Город с первого момента возникновения был пространственной точкой, несущей огромную нагрузку, не только функциональную, но и смысловую.

Город вообще, будучи центром, с первых времен постоянно упорядочивал свою внутреннюю структуру, также ориентируясь на центрическую модель мира. И дело не только в том, что центром города всегда был храм, но и в том, что расположение всех его составляющих – дворцов, торговых площадей, жилых кварталов, ворот в городской стене, даже геометрическая форма стены – не было случайным. Весь город во внутренней структуре его ориентировался на сакральную топологию, на которую было также сориентировано и местоположение его в системе не только географических, но и сакрализованных координат. Более того, мыслилось, что всякий город, подобно Иерусалиму, имеет своего небесного двойника и своего небесного покровителя. Таким образом, города всегда обладали некой ослабевающей или усиливающейся со временем метафизической аурой. Степенью выраженности этой ауры во многом определяется способность или неспособность городов порождать связанные с ними сверткесты.

«Городской текст» есть явление специфичное, связанное с двойной природой города «как изображения и реальности одновременно». Обе эти стороны неразрывны. К. Линч, автор получившей широкую известность книги «Образ города», говорит в связи с этим о возможности *читать* город как текст. По структуре своей текст города в некотором смысле приближается к художественному тексту. Внимательный глаз также обнаружит здесь свои сцепления, сближения и отталкивания, свои сопряжения образов.

Выделение подобных доминантных точек совершенно необходимо при формировании образа любого города. Они в системе составляют подобие образного каркаса, который на визуальном уровне позволяет отличить один город от другого. Опознаваемость города по характеру и соотношению его доминантных точек К. Линч называет вообразимостью. Это приводит к необходимости определить вообразимость. Это такое качество материального объекта, которое может вызвать сильный образ в сознании произвольно избранного наблюдателя. «Это качество можно было бы назвать читаемостью

или, быть может, видимостью в усиленном смысле, когда объекты не просто можно видеть, но они навязывают себя чувствам обостренно и интенсивно» [Топоров, с. 275].

Важность этой категории становится тем больше, чем значительнее временное расстояние между моментом фактического восприятия города и моментом воссоздания его образа в художественном тексте. Объясняется это тем, что степень вообразимости напрямую связана со структурой запоминания не только на уровне материальных объектов, но и на уровне переживания. Каждая доминантная точка, воспроизведенная в памяти, «работает» как реминисценция цельного городского текста, возвращая субъекту пережитые ранее ощущения, и служит толчком к воплощению образа в слове, красках, звуках.

Проекция вообразимости в сознании и памяти наблюдателя обозначает себя в процессе восприятия в виде явления трехуровневого. На первом уровне происходит формирование образов отдельных, разрозненных доминантных точек, между которыми возникают пространственные разрывы, определяющие дискретный характер восприятия. На втором уровне доминантность каждой отдельной точки несколько затушевывается, возникает представление об их связанности, появляется ощущение заполненности промежуточного пространства, что порождает качественно иной образ, отмеченный начальными признаками континуальности. Здесь уже может формироваться обобщенный художественный образ города, и многие авторы задерживаются на этом этапе, согласном с их личностными предпочтениями и принципами поэтики. Третий уровень отчасти соотносим с первым, но образы отдельных доминантных точек возникают в этом случае как носители одновременно и частного, и общего, то есть как конкретные воплощения образа города в целом.

Формируемый городом-текстом цельный образ всегда одновременно и индивидуален, и типологически закреплён. Об индивидуальных образах городов, породивших в русской литературе «городские тексты», мы будем говорить далее. В типологическом же отношении следует отметить два вида маркировки города, выделяемые авторами работ о «городских» свертках.

Ю.М. Лотман в статье «Символика Петербурга и проблемы семиотики города» пишет о городах концентрического и эксцентрического типа: «Концентрическое положение города в семиотическом пространстве, как правило, связано с образом города на горе (или на горах). Такой город выступает как посредник между землей и небом, вокруг него концентрируются мифы генетического плана (в основании его, как правило, участвуют боги), он имеет начало, но не имеет конца – это «вечный город». Эксцентрический город расположен «на краю» культурного пространства: на берегу моря, в устье реки. Здесь актуализируется не антитеза «земля/небо», а оппозиция «естественное/искусственное». Это город, созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе с нею, что дает двойную возможность интерпретации города: как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращенности естественного порядка – с другой. Вокруг имени такого города будут концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий будет

неотделима от этого цикла городской мифологии. Как правило, это потоп, погружение на дно моря» [Лотман, с. 10].

В.Н. Топоров, исходя из мифопоэтических и аксиологических предпосылок, выделяет тексты «города-девы» и «города-блудницы». Язык описания и первого, и второго органически связан у него с языком культуры. «С появлением города человек вступил в новый способ существования, который не мог не казаться парадоксальным и фантастическим: выживание и, более того, перспектива пути к максимальному благу, к обретению нового рая ... были связаны с незащищенностью, неуверенностью,... в известном смысле – богооставленностью и, наконец, с трудом-страданием» [Топоров, с. 121]. Отсюда возможность движения в двух направлениях при оценивании города, прошедшего определенный путь становления: город проклятый, падший и развращенный и город преображенный и прославленный, новый град. В системе городских архетипов прообразом первых является Вавилон (город-блудница), вторых – Иерусалим (город-дева).

Как известно, в древности город соотносился с женским началом. Но с развитием цивилизации ситуация изменилась. Ныне можно в типологию городских текстов ввести оппозицию мужского – женского как текстоопределяющую. Так, именно через эту оппозицию могут рассматриваться постоянно сопоставляемые Петербург и Венеция. О мужской в основе своей природе Петербурга говорит многое. Сам акт его рождения фактически и мистически связан с мужскими волевыми проявлениями, что подхватывает, утверждает и развивает затем русская литература. В противоположность этому сюжет рождения Венеции из вод, многократно воспроизведенный в художественных произведениях, и само пребывание ее в водах как соприродной ей среде ясно указывают на преобладание в ней женского. Закономерным в этом контексте представляется тот факт, что воды, враждующие с Петербургом, живут с Венецией в любовной близости, в результате чего два города оказываются отмечены противонаправленными тенденциями с доминированием эсхатологического мифа для Петербурга и креативного для Венеции.

На первый взгляд кажется, что и в Венеции обнаруживаются те же соотношения, однако в истоках своих связи воды и камня в двух городах в принципе различны: Петербург, несмотря на официальное добавление к его имени приставки *Санкт*, и в истории, и в сознании людей более соотносится не с апостолом Петром, а с выдающимся, но земным строителем своим. Следующая отсюда череда замещений приводит не только к десакрализации Петербурга, но и к объявлению его антихристовым городом. В Венеции, при всей значимости творческого порыва земных строителей города, их труд и вдохновение оказываются вторичными и производными от божественного промысла, выраженного в предсказании, сообщенном святому Марку. В результате Петербург остается, по сути дела, без небесного покровителя, а Венеция поклонялась и поклоняется своему святому патрону, оберегающему ее. Воды в этом случае подчинены высшей воле и даруют камню если не вечность, то долгожительство.

Разумеется, прорисованная выше типология не может быть жесткой. В реальности как текст города, так и порожденный им «городской текст» литературы включают в себя признаки разных типологических рядов. Поэтому в каждом конкретном случае речь должна идти не об абсолюте, но только о тенденции, которую следует выявлять и с которой нужно считаться.

Противоречивость знаков сопровождала Петербург с момента первого упоминания о нем. Известно, к примеру, что при водружении на месте будущего города каменной плиты с надписью «От воплощения Иисуса Христа 1703 года мая 16, основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским» в небе появился орел, якобы паривший над царем, что было воспринято или подано как благословение свыше. Но известно также и пророчество, приписываемое обычно Евдокии Лопухиной, первой жене Петра: «Быть Петербургу пусту!». К пророчеству этому примыкает предание о неких старцах, предвещавших Петербургу гибель в водах. По сути дела продолжением и своеобразным обоснованием этих эсхатологических вещаний оказались раскольничьи суждения о Петре-Антихристе и граде его, обреченном на гибель по воле Господа.

И призрачный миражный Петербург, и его текст принадлежат к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немислимы без стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического. Именно поэтому тема Петербурга мало кого оставляет равнодушной. Она характеризуется особой напряженностью и взрывчатостью, максималистской установкой как на разгадку самых важных вопросов русской истории, культуры, национального самосознания, так и на захват, вовлечение в свой круг тех, кто ищет ответ на эти вопросы. Прорыв к этой более высокой реальности осуществляется или с помощью интуитивного постижения целого, или путем вживания в усваиваемые образы Петербургского текста, все время соотносимые с самим городом, с «этим» Петербургом, но не отвлеченно, а конкретно. Петербургский текст отчетливо сохраняет в себе следы своего внетекстового субстрата и, в свою очередь, требует от своего потребителя умения восстанавливать («проверять») связи с внеположенным тексту. Текст, следовательно, обучает читателя правилам выхода за свои собственные пределы. И этой связью с внетекстовым живет сам петербургский текст и те, кому он открылся как реальность.

Только в петербургском тексте Петербург выступает как особый и самодовлеющий объект художественного постижения, противопоставленный тем разным образам Петербурга, которые стали знаменем противоборствующих группировок в русской общественной жизни. Идеологическая рознь вокруг Петербурга сводится к следующему: на одном полюсе признание Петербурга единственным настоящим (цивилизованным, культурным, европейским, образцовым, даже идеальным) городом в России. На другом – свидетельства о том, что нигде человеку не бывает так тяжело, как в Петербурге (нерусский город).

Еще Н.П. Анциферов, знаток темы Петербурга, в своей книге «Душа Петербурга» отметил, что литературные произведения, посвященные этому городу, обладают немалой степенью внутреннего единства. Они образуют как бы цепочку текстов, точнее – целую разветвленную сеть, в которой каждое звено подключено под общее смысловое напряжение. И на этом основании модно говорить, разумеется, с определенной долей условности, об этих произведениях как о «едином петербургском тексте». Эта мысль Н.П. Анциферова получила развитие в современных филологических и культурологических работах.

В русской литературе, да и в культурном сознании общества в целом, Петербург с момента своего возникновения стал восприниматься не только как конкретный город, не только как новая столица, но и «как символ новой России, символ ее будущего» [Отрадин, с. 5]. С природой чудесного связано и признание за Петербургом необычности его при всей ориентированности на европейские города. Об этом писал А. Бенуа: «Петербург рос и развивался удивительно самобытно и с удивительной силой. Взгляните на старинные виды Петербурга? Ведь это не общеевропейский город и вовсе, с другой стороны, не русский, а какой-то совершенно особенный, безусловно прекрасный и грандиозный» [Отрадин; с. 9]. Но в литературе эта особенность города не получила своего развития, ибо она была понятна только тем, кто хорошо знаком был с русским градостроительством и европейскими городами.

В русскую литературу Петербург вошел и прожил в ней весь XVIII в. на максимально мажорной ноте. Главной составляющей петербургского текста было авторское чувство восторга и удивления. Так, в оде Ломоносова Нева дивится этому неожиданно возникшему на ее берегах городу:

«Или я ныне позабылась
И с оною пути склонилась,
Которым прежде я текла?»

[Ломоносов, с. 67]

Другой поэт воспевал город как создание великого Петра:

Красуйся ты, о град, и будь всегда прекрасным,
И ввек хвались ты, что был построен кем.
Ты морем и землей россианам удобен,
Всяк оком обзри и с ужасом скажи:
Коль ты прекрасен град! Ты Риму стал подобен,
И в сердце ты другим любовь к себе вложи.

[Нартов, с. 146]

Мотив чуда оказался в поэзии очень стойким. Он дожил до пушкинских времен. Так, поэт Вяземский в традициях поэзии прошлого века воспевает город:

Повсюду зрю следы великия державы,

И русской славою след каждый озарен.<...>
Народной чести страж и злобе страх немой.
Пуškai враги дерзнут, вооружаясь адом,
Нести к твоим брегам кровавый меч войны,
Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,
Готовый пасть на них с отважной крутизны.

[Вяземский, с. 78]

И еще одно достоинство видит в нем поэт:

Искусство здесь везде вело с природой брань
И торжество свое везде знаменовало .

[Вяземский, с. 79]

Но к 1810-м гг.дам громкая риторика и восторги по поводу Северной Пальмиры постепенно уходят из русской поэзии. Приходят в текст чувства личной симпатии к Петербургу. Причина этих симпатий – развитие в городе искусства, открытие Лицея, и подъем народного сознания: Петербург явился миру столицей, победившей Париж. Как отмечал поэт Г.Р. Державин, здесь же наблюдается «юных русских муз блистательный рассвет». Есть основания говорить об особом «люблю»-фрагменте Петербургского текста в поэзии первых десятилетий XIX в., в частности в сочинениях Пушкина.

По-прежнему на вторых позициях в русской поэзии звучит мотив порочности города. Следует отметить, что его начал активно развивать еще сатирик Д.И. Фонвизин, в частности, в «Послании к слугам моим Петрушке, Ваньке и Шувалову», где поэт перечислил все социальные пороки, формирующиеся в большом столичном городе – городе чиновников.

В стихотворении К.Ф. Рылеева «Давно мне сердце говорило» (1821) «шумный град Петра» – гибельное для человека место:

Едва заставу Петрограда
Певец унылый миновал,
Как раздалась в душе отрада,
И я дышать свободней стал,
Как будто вырвался из ада

[Петербург в русской поэзии, с. 7]

В сознании Пушкина Петербург навсегда останется городом контрастов:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид.

[Петербург в русской поэзии, с. 7]

Его сердце навсегда будет принадлежать Москве. Славу Петербурга и его государственную (парадную) жизнь, его балы и прогулки по набережной поэт воссоздаст в прекрасных стихах, но напишет в своем «самом задушевном произведении»: «Вреден Север для меня».

После декабрьского восстания, которое не получило в русской литературе отклика, соответствующего значению этого события в истории страны, этот город стал осознаваться как город свободы. Поэт Н.А. Некрасов писал:

В стенах твоих
И есть, и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы.
Ты дорог нам, ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда.

[Петербург в русской поэзии, с. 21]

Важно обратить внимание на то, что поэтам в Петербурге виделось много отрицательного. Ни к одному городу в России не было обращено столько проклятий, хулы, обличений, поношений, упреков, обид, сожалений, плачей, разочарований, сколько к Петербургу. Петербургский текст исключительно богат широчайшим кругом представителей этого «отрицательного» отношения к городу, отнюдь не исключаящего (а часто и предполагающего) преданность и любовь. Этот текст знает своих святых, но и своих поносителей, ненавистников, а также и тех, кто находится между первыми и последними, кто встретился с городом непредвзято или даже с преувеличенными надеждами, но не сумел найти себе места в нем.

Всем «антипетербургским» исповедям приходится доверять условно, поскольку многие писавшие о своей несовместимости благополучно жили в нем. И дело не в том, что эти авторы были не искренни, легкомысленны или лишены чувства ответственности. Пожалуй, наоборот, именно искренность, серьезность и сознание долга понуждали их говорить о Петербурге то, что не претендовало на общую истину и не предполагало согласия с другими, но было ценно именно своей «субъективностью», в данном случае – истинностью и верностью самому себе.

Так, молодой Н.И. Тургенев вернулся в Россию, побывав в Москве и, наконец, приехал в Финополь (Петербург), как он называет северную столицу, или, проще, в «финское болото», как называли город многие и тогда, и значительно позже («финскость», «чухонскость», «ингерманландскость» Петербурга – важные составляющие его образа). 7 ноября 1816 г. он записывает: «Невыгода географического положения П[етер]бурга в отношении к России представилась мне еще сильнейшею, в особенности смотря по нравственному отдалению здешних

умов от интересов Русского народа» [Топоров, с. 289]. Несколько позже, 1 февраля 1817 г., – первая формулировка своей несовместимости с Петербургом: «Далеко жить от Петербурга есть непременно условие, дабы жить спокойно. Неудобства здешней жизни ничем не вознаграждаются. В отдалении можно еще ожидать сих вознаграждений, но вблизи они исчезают» [Там же, с. 265]. Или: «Петербург меня нимало не прельщает. Не хочется о нем и думать. Но что может быть для меня приятного в П[етер]бурге?» [Там же, с. 289].

Примерно в то же время, но гораздо трагичнее засвидетельствовал свое отношение к Петербургу В.А. Жуковский. Проклиная этот город, он сознает, что для него «не жить в Петербурге нельзя», и эта принудительность, которую ты сам как бы и выбираешь, приводит к утрате обычной у Жуковского уравновешенности, к состоянию, близкому к срыву. А.П. Киреевской, племяннице и другу, он пишет: «О, Петербург, проклятый Петербург с своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит! Рад все бросить и убежать к вам, чтобы приняться за доброе настоящее, которого здесь у меня нет и быть не может». Тому же адресату он пишет о себе в Петербурге: будущее не заботит его, «для меня в жизни есть только прошедшее. <...> Но что же вам скажу о моей петербургской жизни? Она была бы весьма интересна не для меня! Много обольстительного для самолюбия, но мое самолюбие разочаровано – не скажу опытом, но тою привязанностью, которая ничему другому не дает места». И еще раз, возвращаясь к «петербургской» теме в письме к А.П. Киреевской в Долбино: «Въехал в Петербург с самым грустным, холодным настоящим и самым пустым будущим в своем чемодане... Здесь беспрестанно кидает меня из одной противности в другую, из мертвого холода в убийственный огонь, из равнодушия в досаду» [Там же, с. 266].

А.А. Бестужев-Марлинский в повести «Испытание» создал почти сатирический образ Петербурга, охваченного хлопотами накануне рождественского праздника: «В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед, – это праздник смурых извозчиков<...> Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают как угорелые со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках <...> Купцы в лавочках и в гостином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся наперегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. ... там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги и браслеты» [Марлинский, т.1; с.181].

Парадигма петербургского текста русской литературы и культуры.

Петербург – город контрастов

Еще резче говорят о Петербурге люди 1840-х гг. – как «западники» (и именно те, кто этому городу обязан был многим), так и «славянофилы». Нередко в отношении Петербурга они вполне единодушны. Западник Белинский: «Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя – человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем – человек; если Питер полюбится ему – будет или богат, или действительным статским советником» [Топоров, с. 266]. Или славянофил И.С. Аксаков: «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими» [Там же, с. 266].

Уже в 1860-е годы один из героев «Трудного времени» Н. Слепцова говорит: «Нет, в самом деле, ... я замечал, что Петербург как-то совсем отучает смотреть на вещь прямо, в вас совершенно исчезает чувство действительности; вы ее как будто не замечаете, она для вас не существует» [Там же, с. 268]. Отталкивание от Петербурга, столь сильная энергия отрицательного восприятия, чреватые, конечно, большими результатами.

Доминантой в отношении к Петербургу в петербургском тексте XIX в. стала та смысловая конструкция, которая была выражена А. Григорьевым в стихотворении «Город»:

Да, я люблю его, громадный, гордый град,

Но не за то, за что другие;

<...>

Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душою

Я презираю в нем иное, –

Его страдание под ледяной корой,

Его страдание больное.

<...>

Страдание одно привык я подмечать,

В окне ль с богатою гардиной,

Иль в темном уголку, – везде его печать!

Страданья уровень единый!

[Петербург в русской поэзии ..., с. 15]

В петербургском тексте Петербургу противопоставляется Москва, московское пространство (тело). Она как нечто органичное, естественное, почти природное (отсюда обилие растительных метафор в описаниях Москвы) возникла сама собой, без чьей-либо воли, плана, вмешательства.

Петербург неорганичный, искусственный, сугубо «культурный», вызванный к жизни некоей насильственной волей в соответствии с предумышленной схемой, планом, правилом. Отсюда особая конкретность и заземленная реальность Москвы в отличие от отвлеченности, нарочитости, фантомности «вымышленного» Петербурга. Многочисленные примеры описания Петербурга как миража, фикции. (Ср.: «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото <....>?» (Ф.М. Достоевский, «Подросток»); или : «В ту ночь – там, в туманных концах проспектов автомобиль сорвался с торцов, с реальностей перспектив – в туманность, в туман – потому – что Санкт-Петербург – есть таинственно-определяемое, то есть фикция, то есть туман – и все же есть камень» (Б. Пильняк, «Повесть Петербургская, или Святой-Камень-Город»).

Но по существу явления Петербурга и Москвы в общероссийском контексте в разных его фазах были, конечно, не столько взаимоисключающими, сколько взаимодополняющими, подкрепляющими и дублирующими друг друга. «Инакость» обеих столиц вытекала не только из исторической необходимости, но и из той провиденциальности, которая нуждалась в двух типах, двух стратегиях, двух путях своего осуществления.

Как было отмечено выше, А.С. Пушкин заложил начало петербургского текста как отражающего противоречивость города. Эта противоречивость провиденциальна, она в природе города и его развитии. Во-первых, в нем сошлись две природные противоположности: текучая (подвижная) и статичная стихии. Петербург – город каменный, но пронизан, как тело человека кровеносными сосудами, водными артериями. Здесь можно вспомнить пушкинский ряд антиномий в романе «Евгений Онегин»: «Они сошлись: вода и камень, // Стихи и проза, лед и пламень// Не столь различны меж собой». Во-вторых, в его строительстве принимали участие русские и иностранцы, от этого он получился и не русским, и не европейским в чистом виде городом. В-третьих, «город создан под водой», но на суше. Думается, этот ряд можно продолжить другими параллелями. Неизменным остается одно – он изнутри противоречив.

В 40-е г. XIX века создается большая часть поэмы Н. Огарева «Юмор». Поэт продолжает мысли Пушкина о противоречивости самого Петра, его детища и самого «медного всадника». С одной стороны, он чувствует себя патриотом:

Я сам был горд на этот раз,
Как будто б был причастен к делу,
Которым он велик для нас.

С другой стороны, это чувство гасится мучительными сомнениями:

Куда рукою кажет он?
Куда сквозь тьму вперил он очи?

Какою мыслью вдохновлен,
Не знает сна он среди ночи?
С чего он горд? Чем увлечен?

[Петербург в русской поэзии ... , с. 12]

Контраст города в поэме Огарева подчеркивается противостоянием двух архитектурных сооружений города – Зимнего дворца и Петропавловской крепости-тюрьмы. Известно, что в Петропавловской крепости (ее соборе) похоронен основатель города. Но здесь же в крепости, рядом с собором, находится и Алексеевский рavelин с его секретным застенком. Соседство храма и тюрьмы также совсем не случайное.

Антонимичность деталей, составляющих петербургский текст, отметил и

В.Я. Брюсов:

Город Змеи и Медного всадника,
Пушкина город и Достоевского,
Ныне, вчера,
Вечно – единый, от небоскребов до палисадника,
От островов до шумного Невского, –
Мощью Петра,
Тайной – змеиной!

[Петербург в русской поэзии ... , с. 241]

О. Мандельштам пошел дальше: он подметил в городе еще одну антиномию – противопоставление двух храмов, построенных разными зодчими.

На площадь выбежав, свободен
Стал коллонады полукруг, –
И распластался храм господень
Как легкий крестовик-паук.<...>
И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

[Петербург в русской поэзии ... , с. 290]

Нет сомнений, что поэт называет два великих сооружения: Казанский собор и Исаакиевский собор. В чем смысл этого противопоставления – говорят сами строчки стихотворения. В восприятии поэта, Казанский собор «свободен». Если учесть, что он построен в честь великой победы над Наполеоном, тогда эпитет «свободный» вполне соотносим с символическим значением всего храма. Исаакиевский собор не имеет прямой связи с русской историей, он искусственно символизирует величие государства и не понятен как текст простым людям. Так, Казанский собор соотносим с русским

православием, его силой (икона Казанской божьей матери была на поле битвы с Наполеоном и защищала русское войско). Гигантское тело Исаакиевского собора прижато к земле, оно не парит, как тело Казанского собора. Оно вдвойне камень, потому что прижато к земле «скалой». Можно говорить о наличии в городе двух противоположных ипостасей – духовной и телесной. И если духовная ипостась соотносима с православной верой, то телесная ипостась соотносима с европейской формой.

Другой поэт, современник Брюсова – Георгий Иванов продолжает своеобразное наблюдение за контрастами города. В одном из стихотворений он высказывает свои наблюдения:

Луны серебряный закат
Сменяют отблески зари.
.....
Летят и тают тени птиц
За крепость – в сумрак заревой.
И все светлее тонкий шпигц
Над дымно-розовой Невой.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 300]

Поэт увидел некоторую символическую закономерность в расположении архитектурных памятников относительно сторон света. Петропавловская крепость расположена на западной стороне, а «тонкий шпигц» Адмиралтейства – на восточной стороне. Описывая рассвет, а не закат, поэт воплощает всеобщий закон движения в сторону жизни, а не смерти, в сторону свободы и могущества отечества (воплощены в сверкании на солнце устремленной в небо «Адмиралтейской иглы»).

Социально-культурные детали города как воплощение смерти в петербургском тексте

Так, петербургский текст включает в себя в качестве знаковых элементов особенности города, относящиеся уже к материально-культурной сфере. Это планировка, характер застройки, дома, улицы и т.п. Указанные выше примеры наполнены разными смыслами, но доминирующим, думается, является характеристика борющихся в пространстве города сил жизни и смерти.

Одна из несомненных деталей петербургского текста – поминальный синодик по погибшим в Петрополе, ставшем для них подлинным Некрополем. В стихотворении О. Мандельштама мотив города умерших звучит так:

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 291]

Для того чтобы слово «Некрополь» в данном случае приобрело свое подлинное значение, нужно напомнить некоторые факты. Прежде всего, по смертности Петербург в его благополучные первые два

века не знал себе соперников ни в России, ни за ее пределами (разумеется, речь идет о крупных городах, сопоставимых, хотя бы относительно, с Петербургом, для которых к тому же есть статистические данные), несмотря на то, что подлинная смертность населения города была сильно затушевана тем фактом, что масса приезжих, живших в Петербурге, умирать уезжали к себе на родину, будучи уже, как правило, неизлечимо больными людьми. Пушкин, хорошо знавший сельские кладбища и московские, сильно отличавшиеся от петербургских, не раз подчеркивал невыгодные особенности последних:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетка, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом. ...
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе наутро ждут, –
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать.

[Пушкин, т. 2, с. 287]

Статистические данные по петербургским кладбищам характеризуют город как гигантскую фабрику по переработке покойников и приему новых. Так, в XIX в. число погребенных на площадях было огромным. На Волковом Православном кладбище в третьей четверти века в день хоронили по 10 – 20 покойников (а в 1846 и 1848 гг. – по 30 – 40). Примерно та же картина и по другим большим петербургским кладбищам, для которых известны соответствующие данные. Роль климатических условий в изживании жизни человека в Петербурге была очень значительной: многие приезжавшие в город так и не смогли адаптироваться к погодно-климатическим условиям и погибали от простудных заболеваний, воспаления легких, чахотки, а то и от обморожения, о чем свидетельствует петербургская пресса. «В общем климат Петербурга нельзя назвать благоприятным для здоровья, он повышает процент заболеваемости и смертности, сокращает продолжительность жизни и несомненно отрицательно отражается на характере петербуржцев», – пишет один из исследователей петербургского климата. Столица и Санкт-Петербургская губерния принадлежат к тем немногим местностям России, где, благодаря главным образом климатическим условиям, число умирающих превышает число рождающихся, и будь оно изолировано, население ее вместо какого-либо прироста должно бы постепенно вымирать, хотя, конечно, число умирающих потому так велико, что велик наплыв населения пришлого, трудно акклиматизирующегося, а коренное население более жизненно»

[Топоров, с. 364]. Следовательно, и сам Петербург метафорически тоже может быть обозначен как фабрика смерти.

Мотив наводнения в петербургском тексте

В русской литературе XIX в. метафорический образ смерти получил самое широкое развитие. Главной губительной силой в этом городе является вода. Она пронизывает все пространство: болота и топи, Нева и другие реки и каналы города, Финский залив и многочисленные озера, непрекращающиеся дожди и туман. Стихия воды угрожает городу своими наводнениями. Одно из них описано в широко известной, ставшей почти культовой в русском искусстве (живописи, театре, кино, телевидении) поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Смерть, воплощенная в разбушевавшейся Неве, настигает Евгения и Парашу, разрушает деревянные дома, но незыблемым остается камень и металл, они сильнее стихии воды.

В анонимном стихотворении этого же времени наводнение описывается так:

И день настал, и истощилось
Долготерпение судьбы;
И море шумно ополчилось
На миг решительной борьбы.

[Петербург в русской поэзии ... , с.13]

Еще один отрывок из стихотворения М. Дмитриева:

Тут был город всем привольный
И над всеми господин,
Ныне шпиль от колокольни
Виден из моря один.

[Петербург в русской поэзии ... , с.14]

Широкое развитие мотив наводнения в петербургском тексте получил в поэзии «серебряного» века. Лирический герой Н. Гумилева наблюдает наводнение в зоологическом саду:

Река больна, река в бреду.
Одни, уверены в победе,
В зоологическом саду
Довольны белые медведи.

И знают, что один обман –
Их тягостное заточенье:
Сам Ледовитый Океан
Идет на их освобожденье.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 293]

При всей поэтической условности в этом стихотворении просматривается очень важная идея. Белые медведи – пленники в этом городе. Наводнение несет им свободу. Если экстраполировать этот смысл на человеческое сообщество, то можно провести аналогию между медведями и пленниками каменного города, которым стихия также поможет обрести свободу, может, через смерть. Не случайно прочтение образа разбушевавшейся Невы как движения народных масс, которое разрушает, в первую очередь, самих «движущихся», ибо государство как система стоит «непоколебимо».

В стихотворении А. Ахматовой «Как люблю, как любила глядеть я...» мотив смерти города получает глубокую психологическую окраску:

Но когда над Невую длится
Тот особенный, чистый час
И проносится ветер майский
Мимо всех надводных колонн,
Ты – как грешник, видящий райский
Перед смертью сладчайший сон...

[Петербург в русской поэзии ... , с. 297]

В стихотворении Я. Полонского «Миазм» (1868) сюжет наполнен яркими историко-бытовыми деталями и выстроен с редкой психологической точностью. В Петербурге в богатом доме на Мойке умирает ребенок, наследник. Причину его смерти объясняет внезапно появившийся косматый мужичонка:

«А сквозь щель, голубка! Ведь твое жилище
На моих костях,
Новый дом твой давит старое кладбище –
Наш отпетый прах ...
Ты меня не бойся, – что я? Мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...»

[Петербург в русской поэзии ... , с. 21]

В литературе становится устойчивым мотив вины строителя города – Петра Первого – в его гибели, в том, что смерть властвует в блистательной столице. О «проклятой ошибке» строителя писали многие русские символисты. Тут сказывались давние славянофильские идеи. Близкий вариант толкования «вины» содержится в романе Д. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» и позднее в «Петербурге» А. Белого. Об ошибочности «петербургского» пути у Белого сказано так: «С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он

бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия» [Петербург в русской поэзии ... , с. 25].

Ощущение трагического конца, навеянное революционными событиями 1905 г., заставляет автора утверждать, что его город теней, туманов и призраков принадлежит к мрачной стране загробного мира. Эта мысль подчеркивается неоднократно и усугубляется тревожными описаниями погружения Петербурга в бездну: «Опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось – опустятся воды, и хлынет на них глубина, зеленоватая муть».

Символическим стержнем становится в романе Медный всадник, олицетворяющий рок и возмездие. Л.К. Долгополов в исследовании «Андрей Белый и его роман «Петербург» пишет о том, что «медноголовый гигант» в романе самым фантастическим образом превращается в грозного таинственного героя, который врывается в жизнь других персонажей книги, приводя их в смятение и ужас. Зловеще раздаётся в пустоте «тяжелозвонкий» топот его копыт, фыркание ноздрей. Этот образ, считает Л.К. Долгополов, напрямую связан с апокалипсическим пророчеством о «великом трусе» («землетрясение»), когда горы обрушатся, а родные равнины «изойдут повсюду горбом». И последние станут первыми; Нижний, Владимир, Углич поднимутся, а Петербург опустится. Гнилой, мутный, покрытый копотью город полетит в бездну. Автор романа, как известно, обладая даром пророчества, и здесь предсказал трагическую гибель свободной России: «Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение... брань великая будет, – брань, небывалая в мире». Безусловно, прочтение образа Медного всадника как символа северной столицы может быть разным.

Однако Белый все-таки склоняет читателя к пониманию того, что с Петербургом связано будущее России, что через него может воссиять над Россией «последнее солнце». То есть город несет гибель не только своим жителям, но и всей русской земле. Как и через что может передаваться его смертоносная энергия в другие города и веси, Белый не раскрывает подробно, но через ряд деталей можно понять, что это орудие – культура (язык, искусство, образ жизни и т.п.).

По мнению поэта Ин. Аннинского, «петербургская городская» душа механическая, лишённая органики и гуманистического содержания. А такой Петербург его сознание принять не может.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 25]

Так, к осознанию «проклятой ошибки» Петра, определившей судьбу города и судьбы живущих в нем людей, автора приводят размышления над историческим опытом города.

Во многих стихотворениях поэтов «серебряного» века осознается важное качество его материально-культурного облика: в нем много статичных предметов. Например, в стихотворении Брюсова «Александрийский столп» прочитывается мысль о неподвижности петербургского величия, соотносимого с вечным покоем и смертью:

Но неподвижен сон спокойный
Александрийского столпа.

Или:

Для них, детей тысячелетий,
Лишь сон – виденья этих мест,
И эта твердь, и стены эти,
И твой, взнесенный к небу, крест.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 238]

Или:

Качая тихо черепа
В цилиндре, в котелке и в фетре,
По невскому плывет толпа,
Скользят коляски, мимо них,
Гудя, летят автомобили;
Но строго, у коней своих,
Литые юноши застыли.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 239]

Заметим, как плавно переходит поэт от скульптурных памятников к уподобленным им (движущимся, но мертвым) петербуржцам. Наиболее явственно эсхатологический мотив был выражен в знаменитом стихотворении В. Брюсова «Конь блед» (1903), в котором появляется апокалиптический призрак грядущей гибели. И в стихотворении Блока «Статуя», посвященном скульптурной композиции на Аничковом мосту, мотив статики-покоя-смерти также составляет его смысловую доминанту:

Все пребывало. Движенья, страданья –
Не было. Лошадь храпела навек.
И на узде в напряженьи молчанья
Вечно застывший висел человек.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 243]

Или «О смерти»:

Все чаще я по городу брожу.
Все чаще вижу смерть – и улыбаюсь.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 246]

Таким образом, материально-культурный контекст города так выразителен и пронизан смыслами, что его художественный текст выглядит очень зримо, он населен узнаваемыми образами. Не нужно глубоких познаний в области теории порождения смыслов, чтобы выстроить интерпретацию этих деталей. Русское восприятие окружающего мира тем и отличается от европейского, что русский не только созерцает красоту мира или видит безобразное в природе, ему нужно «дойти до самой сути», до абсолютного, универсального их смысла. А это всегда превращает действительность (жизнь) в мечту (раздумье), а поэзию (художественную мечту) – в смысловую реальность.

В русской поэзии получил освещение и другой вариант толкования вины Петра – он не завершил благое начатое, и Россия не продолжила его пути:

Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

[Петербургский текст в русской поэзии ... , с. 25]

Эта поэтическая сентенция складывается из прочтения скульптурной композиции «медного всадника» и пушкинского комментария к нему: Россия поднята на дыбы, змей-враг придавлен к земле, всадник «не договорил» свои слова, потому что поднятая рука обозначает какой-то речевой процесс. Что бы было с Россией, если бы Петру суждено было прожить еще какое-то время – этот вопрос задают и на него пытаются ответить русские мыслители. Можно заметить, что многие художественные замыслы русских поэтов и прозаиков о Петре не реализовались (Кантемир, Ломоносов, Пушкин и др.). И причина не только в них, причина в самой истории, которую они пытались зафиксировать в образе. Нет метафизического ответа на вопрос, зачем Петр прорубил «окно в Европу». Все имеющиеся комментарии (начиная с современников Петра) лишь выражают субъективное, одностороннее понимание произошедшего. Не дал ответа на этот вопрос и гениальный Пушкин, но он его сформулировал: «Куда несешься...// И где опустишь ты копыта?» Так, в семантике образа «медного всадника» на первое место выступает смысл не отраженный, а предполагаемый. Перспективность – важнейшее качество материально-культурной составляющей Петербурга, которая нашла свое отражение в художественном тексте города.

Мотив провинциал в столице в русской поэзии и прозе о Петербурге

В стихотворении Н.А. Некрасова «Несчастные» осмысливается судьба человека в масштабах города:

Пройдут года в борьбе бесплодной,
И на красивые плиты,
Как из машины винт негодный,
Быть может, брошен будешь ты?

Или:

Душа болит. Не в залах бальных,
Где торжествует суета,
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 77]

Благодаря развитию общественного (классового) сознания, в 1840-е гг. в русской литературе петербургская тема подавалась чаще всего в ее драматическом или даже трагическом развороте. Ведущим в ней становится мотив страдания социально униженного человека. Так, Н.В. Гоголь создает образ «маленького человека», который становится знаком Петербурга. Эта ситуация имеет свои «ответвления» в мотивах «провинциал в столице» и «бедные люди».

Мотив провинциала в Петербурге получил свое развитие в пьесах А. Грибоедова «Горе от ума» и П. Катенина «Студент». В столицу приехал из Казани талантливый, как он сам про себя думает, молодой человек. Он приехал продолжать начатое восхождение на поприще поэтического творчества. Но в своих достижениях он оказался далеко отставшим провинциалом, его стихи воспринимались как плохой вкус, архаизмы. И потом, в Петербурге от человека требуется его способность к практическому делу, добыванию денег. Так разрушилась мечта честного и простодушного провинциала, и ему досталось лишь одно дело: переписывать чужие мысли, что, собственно, с большой любовью станет делать другой герой – Акакий Акакиевич Башмачкин.

В многочисленных очерках и физиологиях писатели-демократы изобразили разные слои петербургского общества. Предмет их описаний – дворники, шарманщики, мастеровые, приказчики и пр. Среди прочих особое место занимает почти трагическая персона приезжего в столицу, то есть провинциала. Так, герой очерка «Хорошее место» Терентий Якимович Лубковский приехал в Петербург из Чечевицына, что на Украине, наниматься на службу. Со «всем напряжением и отчаянием стал разыскивать и исследовать все хорошие места в Петербурге. Насущные нужды укротили его гордость. Он перестал думать о губернаторстве и со дня на день терял украинские понятия о жизни, приобретая качества настоящего петербургского чиновника, становился смиреннее, общительнее. Он увидел, что самые хорошие места не для таких людей, как он, суть канцелярские должности с двадцатью целковыми в месяц жалованья и казенною квартирою, с казенными дровами; он увидел также, что ему до такого места, «как до звезды небесной, далеко», потому что Петербург битком набит искателями подобных должностей, и каждый искатель, стараясь по мере сил уничтожить своих соперников, в то же время сам подвергается влиянию враждебной конкуренции» [Русский очерк, с. 307].

Противопоставление Петербурга и другой жизни есть и в стихах Ахматовой. Она родилась в провинции, на юге, но стала истинной горожанкой, столичной дамой со всеми вытекающими последствиями:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы...
А мы живем торжественно и трудно.
И что обряды наших горьких встреч...
Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город...
Бессолнечные, мрачные сады...

[Петербург в русской поэзии ... , с. 297]

Сложно понять боевой дух поэтессы, которая защищает мир, лишенный солнца. Если это не поза, тогда желание защитить то, что дает пищу для жизни, поэзии. Она защищает провиденциальность петербургской поэзии, ее наполненность космическими пространствами, вселенскими смыслами, и по этой причине она не принимает «забор соседа», «пчел», которые думают лишь об одном – как больше собрать нектара и заполнить им свой дом-соты. В других стихотворениях Анны Ахматовой Петербург – «город, горькой любовью любимый», «гранитный город славы и беды»; в нем «широких рек сияющие льды...», темная река («над Невой темноводной»), сам город – «темный город».

Художник А. Бенуа, умеющий по достоинству оценить достижения в градостроительстве, писал: «Кажется, нет на свете города, который пользовался бы меньшей симпатией, нежели Петербург. Каких только он не заслуживает эпитетов: «гнилое болото», «нелепая выдумка», «безличный», «чиновничий департамент», «полковая канцелярия». Я никогда не мог согласиться со всем этим и должен, напротив того, сознаться, что люблю Петербург...» [Отрадин, с. 23]. Понятно, что он любит блистательную архитектуру города, но не окружающие его болота. Его высказывание вполне соотносимо с пушкинским «Люблю».

Петербург конца XIX в. – это уже большой капиталистический город. Созданный Гоголем и Достоевским петербургский текст воплощает русскую национальную трагедию – трагедию подавления личности. Петербург Достоевского оказывает постоянное и страшное воздействие на души людей (Девушкин, Раскольников, Мышкин и др.). Они живут в страшном душевном напряжении, как бы на грани катастрофы, которая вот-вот или все разрушит, или разрешит главные вопросы, прояснит самое сокровенное и важное в жизни. В.Н. Топоров пишет: «В петербургском тексте русской литературы отражена квинтэссенция жизни на краю, над бездной, на грани смерти и намечаются пути к спасению <... > Именно в этом городе сложность и глубина жизни – государственно-политической, хозяйственно-экономической, бытовой, относящейся к развитию чувств, интеллектуальных способностей, идей, к

сфере символического и бытийного, – достигла того высшего уровня, когда только и можно надеяться на получение подлинных ответов на самые важные вопросы» [Топоров, с. 337].

Мотив будущего в петербургском тексте

За два первых десятилетия XX в. было создано громадное количество художественных произведений – и стихотворных, и прозаических, – посвященных Петербургу. Как бывало не раз в истории культуры, мода на какую-то тему приводит к издержкам. Чисто эстетическое отношение к городу не было никогда свободным в литературе. Оно не могло возобладать потому, что для художественного создания образа в пору начала века колоссальное значение имел опыт литературы XIX в.

Среди поэтов, обратившихся к поиску ответа на вопрос, что приобрел своим существованием Петербург, стал И. Коневский. Его мысль такова: победа человека над стихией обернулась победой над естественной жизнью, ибо:

Так воздвигнут им город плавучий,
Город зыбкий, как мост на плотках.
Вдоль воды, разливной и дремучей,
Люди сели в бездушных дворцах.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 24]

Но более значимой в его стихах является мысль о том, что жители города – безродны:

На свет родились
Мы, нежные дети,
И не были сказки веков с малых лет нам родны.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 24]

Отсюда для поэта очевиден следующий вывод: город на Неве чужой для России, у нет него родовых связей с ней.

Ин. Аннинский эту мысль перефразировал так:

Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 25]

Чужеродность города обуславливалась не только его архитектурой, но и большим количеством проживающих в нем иностранцев. Иностранцы в Петербурге – особая тема. Уместно напомнить, что ни в одном русском городе их процент не был так высок и они не играли столь видную роль в структурах власти, начиная с царского двора, администрации, в армии, науке и искусстве, в сфере обслуживания, промышленности, медицине и т.п. Народное сознание понимало этот парадокс «нерусскости» русского города, и во время народных гуляний на Марсовом поле, а потом и в других местах охотно потешались

над этой ситуацией в устраиваемых театральные представлениях (райках, представлениях Петрушки и т.п.). Если мысленно пробежать содержание русской классической литературы, то следует отметить, что иностранцы вообще в России чувствовали себя как дома, а Чацкий чувствовал себя «иностранцем» «в своей стране». Эта национальная проблема наиболее глубоко обозначена в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Онегина воспитывали французы – и отсюда «безродность» Онегина (не только в физическом плане – нет родных, но и в душевном – в нем живет пустота). Татьяна Ларина воспитывалась в деревне русской няней и «верила преданьям», «гаданиям». В душе ее живет родной дом и могила няни. Пушкин писал о двух чувствах, в которых человек «обретает пищу» (смысл жизни):

Любовь к родному пепелищу
Любовь к отеческим гробам.

Ни того, ни другого чувства Петербург не мог вызывать у русского человека, он до определенного времени не был русской историей, и в этом заключалась причина его оторванности от России, с которой ассоциировалась Москва.

Думается, что это противопоставление (Петербург и другая русская история и культура) произрастает отчасти из действия всеобщего противоречия – столкновения двух поколений. Как показывает история, эти противоречия преимущественно не трагические. Но в России все, что является нормой для европейца, может вырасти в катастрофу, вылиться в бунты и революции.

Противопоставление Петербурга всей другой России (практически всегда прочитывается Москва) содержится в одном из стихотворений Аннинского:

Вдали, как редкие цветенья,
Шумят несмело города,
В краях тоски и униженья,
Былого рабства и стыда.

.....

Но Петроград огнями залит,
В нем пышный роскоши расцвет,
В нем мысль неутомимо жалит,
В нем тайной опьянен поэт,

В нем властен твой холодный гений,
Наш Кесарь-Август, наш Ликург!

[Петербург в русской поэзии ... , с. 239]

У А. Блока было чувство глубокой личной связи с Петербургом, своей зависимости от него, которая не всегда осмысливается как благо, но всегда неизбежна. «Город ужасно действует», – эту запись он сделал в дневнике» [Отрадин, с. 27]. В стихах Блока о Петербурге периода первой русской

революции сказался реальный опыт горожанина, блуждающего по грязеньким переулкам, наполненным к вечеру людьми, бредущими от фабрик домой... У Блока нет подробных описаний города, мало примет именно Петербурга (конная группа Клодта на Аничковом мосту, Медный всадник, латник на Зимнем дворце, фиванские скифы на берегу Невы, Елагин мост, часовня на Крестовом острове, Петропавловский шпиль, площадь Сената). Но многие стихи содержат обобщенные характеристики, которые явно принадлежат Петербургу: «треск несущихся льдин», «в переулках пахнет морем» и др. Блок первоначально поэму «Возмездие» назвал «Петербург». Тогда звучащие в ней вопросы: «Какие ж сны тебе, Россия, // Какие бури суждены?...» – относятся в большей степени к Петербургу как определяющему началу в судьбе России. В поэме «Двенадцать» образ Петербурга развернут поэтом в масштабах космических: «Ветер, ветер на всем белом свете». Так, символом Петербурга, и России в целом, становится «ветер». Он порожден Петербургом и ввергает «святую Русь» в хаос. Заметим, что шагающие по улицам Петрограда революционно настроенные граждане Петербурга намерены сами «пальнуть в Святую Русь». Иначе, город Петербург намерен расправиться со всей Русью, с ее символом – Москвой. Метафизический язык Блока является результатом проявления провиденциальности, рождаемой петербургским хаосом. В этом аспекте стихотворение Н. Гумилева «Перед ночью северной, короткой...» воспринимается как продолжение Блока:

Как теперь молиться буду богу,
Плача, замирая и горя,
Если я забыл свою дорогу
К каменным стенам монастыря.

Если взоры девушки любимой
Слаще взоров жителей высот,
Краше горного Ерусалима
Летний сад и зелень сонных вод.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 294]

В литературе постмодернизма возрастает интерес к истории Петербурга. Желание взглянуть на него с эстетической точки зрения сказалось уже в поэзии десятых годов XX в. В это время появляются стихотворения, в которых авторы стремятся воспеть архитектурный пейзаж города:

Опять на площади Дворцовой
Блестит колонна серебром.
На гулкой мостовой торцовой
Морозный иней лег ковром...

Идешь и полной грудью дышишь,

Спускаешься к Неве на лед
И ветра над собою слышишь
Широкий солнечный полет.
И сердце радостью трепещет,
И жизнь по-новому светла,
А в бледном небе ясно блещет
Адмиралтейская игла.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 300]

Или:

Столица спит. Трамваи не звенят,
И пахнет воздух ночью и весною.
Адмиралтейства белый циферблат
На бледном небе кажется луною....
Но отсветы стального багреца
Уже растут, пронзая дым зеленый,
Над статуями Зимнего дворца
И стройной Александровской колонной.

[Петербург в русской поэзии ... , с. 301]

Обостренным вниманием к культурным объектам нового века характеризуется и поэзия О. Мандельштама. В ряду близких ему – ампиный Петербург и Петербург времен Пушкина.

Летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

[Петербург в русской поэзии ... , с. 289]

Так, ничего не меняется в петербургском тексте с приходом нового века, нового поколения. Петербург как бы замер в ожидании какого-то катаклизма, который или погубит его, или прославит.

2.2. Московский текст русской литературы и культуры

Е.Н. Меднис, раскрывая проблему московского текста, обращается к пушкинской цитате:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфиноносная вдова

и отмечает: «Так видится Пушкину соотношение Петербурга и Москвы в русской истории и культуре. Слово «померкла» у него не говорит о полном угасании прежней столицы, ибо она, лишившись порфиры, сохраняет свой почтенный сан [Меднис, с.23]. Действительно, с перенесением столицы в Петербург семиосфера Москвы не только не утратила былой потенциал, но, переориентировав внутренние векторы, она в некоторых видах своего существования активизировалась. Москва, перестав быть столицей, аккумулировала в себе все характерно московское, относящееся не только к городу, но и к Московии, к допетровской Руси. В этом смысле понятны и закономерны те семиотические крайности, в системе которых Петербург соотносится с Западом, Европой, а Москва – с Востоком, Азией.

Традиция противопоставления Москвы, часто сближаемой с провинцией, и Петербурга сложилась и закрепились в литературе с первых десятилетий XIX в., а в мирознании россиян это произошло еще раньше. Идеологическая наполненность данного противопоставления была способом выражения противоборства разных идейных и культурных тенденций внутри России, тенденций, которые в 40-50-х гг. XIX в. оформились как противостояние славянофильства и западничества. Однако то, что внутри русской культуры сложилось в виде довольно жесткой системы альтернативной семантики, в границах общеевропейского контекста выделось и ныне видится более сложным и в футурологическом плане более значимым.

Тенденции, отмечаемые учеными, определенным образом проецировались на русскую культуру и усложняли видение культурно-исторических отношений двух ключевых российских топосов указанием на их взаимосвязанность. В этом плане Москва и Петербург есть два функционально отличных друг от друга центра России, именно два центра, что определяет не только маршруты их расхождения, но и точки сопряжения, сближения. В этом смысле абсолютно прав В.Н. Топоров, полагая, что «по существу явления Петербург и Москва в общероссийском контексте, в разных его фазах, были, конечно, не столько взаимоисключающими, сколько взаимодополняющими, подкрепляющими и дублирующими друг друга. «Инакость» обеих столиц вытекала не только из исторической необходимости, но и из той провиденциальности, которая нуждалась в двух типах, двух путях своего осуществления [Топоров, с. 274].

Вместе с тем, учитывая особую значимость и отмеченность Москвы в русской истории и культуре, следует признать, что большой пласт художественных текстов, так или иначе с Москвой связанных, не обладает той степенью внутренней цельности, которая позволила бы безоговорочно вести речь о московском тексте русской литературы. Существенную роль здесь играет отсутствие у Москвы той фундаментальной текстопорождающей основы, каковую образует креативный либо

эсхатологический миф. В целом вокруг Москвы возникает обширное поле мифологии, но, как правило, это мифы, связанные с отдельными точками городского локуса или событиями городской жизни.

Один из наиболее масштабных, но опять же не связанных с рождением города мифов покоится на концепции Москвы – третьего Рима. В истоке своем авторская, принадлежавшая старцу Филофею, идея эта оторвалась от своего родителя и на определенном этапе стала общегосударственной, породив миф о России как преемнице и преобразовательнице Рима первого и Рима второго (Константинополя), а стало быть, и о ее мировой значимости, что послужило основой для представления о мессианской роли России. Защитники этой идеологии не учитывают ее изначальную двуплановость, акцентируя внимание на том звене цепочки, которое связывает Москву и Константинополь. Между тем, как справедливо заметил Ю.М. Лотман, «Идея «Москва – третий Рим» по самой своей природе была двойственной. С одной стороны, она подразумевала связь Московского государства с высшими духовно-религиозными ценностями. Делая благочестие главной чертой и основой государственной мощи Москвы, идея эта подчеркивала теократический аспект ориентации на Византию. В этом варианте идея подразумевала изоляцию от «нечистых» земель. С другой стороны, Константинополь воспринимался как второй Рим, т.е. в связанной с этим именем политической символике подчеркивалась имперская сущность – в Византии видели мировую империю, наследницу римской государственной мощи» [Лотман, с. 237].

Е. Левкиевская указывает на связь с Москвой двух мифологизированных концептов – «града Китежа» и «второго Вавилона». Первый, как пишет Е.Е. Левкиевская, начинает формироваться в кругах русских теософов сразу после революции, что связано с глубоким переживанием крушения в 1917 году России и Москвы как ее центра, сердца. В это время возникает и широко распространяется мысль о незримом существовании прежней Святой Руси и Москвы вкупе с нею. «В рассказах и легендах на эту тему, – замечает Е.Е. Левкиевская, – образ города раздваивается – внешне лишенный света, одичавший от собственной жестокости и залитый кровью, он оказывается полон тайных светильников, до времени закрытых от постороннего глаза, невидимых троп и путей, по которым осуществляется передача духовной литературы и писем из ссылок и лагерей. Здесь избранным по молитве являются Богородица или Николай Угодник, в трудную минуту приходящие на помощь православному человеку, но невидимые для окружающих его атеистов. Москва – «Китеж-град» незримо существует, растворенная в другом городе – «Втором Вавилоне»» [Левкиевская, с. 829].

В цельной системе обозначенных концептов ясно обнаруживается связь Москвы –града Китежа с Москвой – третьим Римом и Москвой – вторым Вавилоном, здесь первый в своем теологическом наполнении является частью второго, локализованной внутри третьего.

Сам московский текст по причине некоторой структурной рыхлости трудно пока представить как единый свертхтекст. Однако возникновение своего рода исследовательской «моды» на воссоздание свертхтекстов и внелитературное возрастание семиотической значимости Москвы вполне могут

подтолкнуть кого-то к написанию труда, именуемого, по аналогии с работой В.Н. Топорова, «Московский текст русской литературы». Пока же имеются так или иначе сгруппированные работы разных авторов, посвященные изучению темы и образа Москвы в литературе преимущественно XIX – XX вв.

Ю.В. Манн в работе «Москва в творческом сознании Гоголя (Штрихи к теме)» говорит о роли Москвы в жизни Гоголя, опираясь на факты его биографии, письма, воспоминания современников, а также рассматривает гоголевское видение Москвы, нашедшее отражение в его статье «Петербургские записки 1836 года». Сопоставляя Москву и Петербург, Гоголь, как кажется, отдает предпочтение Москве. Москва Гоголя, как пишет Ю.В. Манн, это «матушка», «старая домоседка», кладезь невест; словом, «Москва женского рода, Петербург мужеского». Ко всему этому добавляются знаки обилия, широты, радушного и ничем не сдерживаемого гостеприимства <...> всего того, что связано с плодоносящими и животворящими силами». Однако у такой гоголевской Москвы есть и обратная сторона, на которую указывает автор статьи, – она хаотична, неопрятна, ленива, в отличие от активного, деятельного «щеголя-Петербурга».

В итоге, по мнению Ю.В. Манна, возникает «парадоксальное, чисто гоголевское соединение противоположностей: нерусский город Петербург (в отличие от исконно национальной Москвы) оказывается воплощением русской удали (а Москва – русской лени)». Здесь стоит заметить, что автор не комментирует, к чему прилагается русская удаль в Петербурге. Если учесть, что Петербург как город чиновников ставит своей главной целью нажить капитал (это диктует развивающийся Запад), то в этом случае лень Москвы (Обломова) сознательна, она необходима для защиты от того, что не устраивает Москву в принципе. Если вспомнить спор Штольца с Обломовым по поводу того, как нужно жить, то слова Штольца «Дело ради дела» (читай – деньги ради денег) совсем непонятны Обломову. Если дело не преследует идеи, а смысл ее заключен в нем самом, то это может говорить о бессмысленности дела.

Итак, в русской культуре XIX – начала XX в. Москва протейчна, и каждому, взглядывающемуся в нее, она являет такой лик, который тот способен или жаждет увидеть. «Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его, – писал Г. Федотов. – Противоречия, живущие в ней, не раздрают, не мучают, как-то легко уживаются в народной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым» [Федотов, с. 55].

Московский текст русской поэзии XIX – начала XX века

Московская тема – одна из важнейших в творчестве М. Цветаевой. Образ Москвы представлен в отдельных ее стихотворениях, а также в цикле «Стихи о Москве». Цветаева родилась и выросла в Москве, она ощущала себя ее жителем. «Трехпрудный переулок, где уютно расположился деревянный дом Цветаевых, был окружен морем московского люда, и волны ладного московского говора,

перемешанного с диалектными речениями приезжих мужиков, странников, богомольцев, юродивых, мастеровых бились и бились в стены и уши этого отзывчивого жилища. Московским говором восхищался Пушкин. Цветаева, выйдя за порог отцовского дома, окуналась с головой в эту родную языковую купель. Еще в младенчестве она была крещена московской речью, вот почему – через годы – речь эта так легко и многозвучно, не потеряв ни красок, ни оттенков, ни распевности, ни отзвучий, ожила в ее стихах», – пишет А.И Павловский. Своему дому в Трехпрудном переулке Цветаева посвятила не одно стихотворение:

Высыхали в небе изумрудном
Капли звезд и пели петухи.
Это было в доме старом, доме чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном,
Превратившийся теперь в стихи.

Известно, что ее дом детства в Трехпрудном переулке, был снесен в годы революции, после чего она на то место никогда не возвращалась.

Облик Москвы для Цветаевой определяется, прежде всего, ее церквями.

Облака – вокруг,
Купола – вокруг.
Так начинается Цветаева первое стихотворение цикла. И далее:
Семь холмов – как семь колоколов,
На семи колоколах – колокольни.
Всех счетом: сорок сороков, -
Колокольное семихолмие.

Москва для Цветаевой – благословенный город. Определяя значение Москвы для всех жителей России, Цветаева часто употребляла слово «дом»:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем!

Москву она воспринимала как открытый дом, в который может войти всякий, и каждого Москва обогреет, приласкает, поможет, спасет, укроет в своих стенах.

Образ Москвы появляется еще в ранних стихах. Жгучее чувство любви пронизывает стихотворение «Домики старой Москвы»:

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных

Все исчезаете вы,
Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.
Где потолки расписные,
До потолков зеркала?

М. Цветаева с большой любовью относилась к трем поэтам: А. Блоку, А. Ахматовой и О. Мандельштаму. «Все три поэта, все три любви – из Петербурга. Это были самые петербургские из петербургских поэтов не только в сознании и восприятии Цветаевой... свою «московскость» Цветаева особо ощутила... именно в Петербурге. Цветаева пишет, что читая свои «московские» стихи, она не хотела противопоставлять Москву Петербургу или тем более, как некоторые думали, себя – Ахматовой. Она хотела Петербургу – и прежде всего Ахматовой – подарить Москву» [Павловский, с. 124].

А. Саакянц пишет: «В бессонной Москва (не только в Петербурге не спать по ночам!) романтичнее мечтается о петербургском «божестве» – А. Блоке... Кто знает, были бы написаны в 1916 г. стихи к Блоку, если бы Цветаева не съездила в его город». Петербургской строгости, сдержанности противопоставлена московская на все распространяющаяся, понимаемая в широком смысле простота, даже простонародность, европейской воспитанности – российская удаль. В этом своеобразный вызов Москвы Петербургу – соревнование, но соревнование любовное и немного авантюрное.

А.И. Павловский писал: «Цветаева дарила ... Москву не только по праву урожденной жительницы «старшей» столицы, но и праву своего (на этот раз исторического) «старшинства». Теперь, став гостем, Мандельштам для нее – «божественный мальчик», отрок. А она рядом с ним – как бы сама Москва: почти восьмисотлетняя, а может быть, старше, потому что «стихом помнила», как осела когда-то на этих семи холмах, основалась, загудела колоколами, а до того, то есть намного раньше – веками раньше! – ходила по Руси, примеривалась быть столицей то в Киеве, то в меньших городах, а еще прежде скрипела в скифских повозках, терялась в бесконечных степях, выходила к теплому живому морю, но возвращалась все же вспять – на север, чтобы в конце концов найти и облюбовать заветные семь холмов, назвав их колокольным именем Москвы». Впрочем, с Москвой, по мнению Цветаевой, не дано сравниться ни одному городу, ибо она уникальная точка мира, «огромный странноприимный дом», куда все придут в конечном счете. Так и сама она после длительной эмиграции вернулась в этот город, в Москву [Павловский, с. 125].

Универсальный смысл Москвы в восприятии Цветаевой заложен в следующих строчках:

Гришка-вор тебя не ополячил,
Петр-царь тебя не онемечил.

Связанный с Москвой диапазон ожиданий и неожиданностей исключительно широк. При устойчивом стремлении художников слова подчеркнуть «азиатскость» Москвы, оттенив ее «европейскостью» Петербурга, порой можно обнаружить в литературе и противоположные интенции. Так, А. Вельтман в романе «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (1846 – 1848) в начале седьмой главы рисует Москву с точки зрения петербуржца, впервые посетившего бывшую столицу, что дает возможность, прибегнув к наложению кодов, выявить неожиданные ракурсы, представляя, к примеру, Кремль как «готическое здание, обнесенное зубчатыми стенами, с башнями, похожее на рыцарский замок средних времен» [Вельтман, с. 263-264]. Безусловно, это не характерный знак для Москвы, но готика не характерна и Петербургу. Москва, у Вельтмана, есть точка стяжения разновременных и разнопространственных сущностей, точка, где признаки древнепрестольного града легко уживаются и даже органично соединяются со штукатуркой под белый каррарский мрамор, где бальные наряды дам с шейками и ручками «по плечо наголо» соседствуют с тяжелыми боярскими нарядами четы Захолустьевых, где и само захоlustье спокойно живет в двух шагах от шумного центра. В такой Москве легко заблудиться как в буквальном (пространственном), так и в бытийном смысле, что и происходит с одним из героев романа Прохором Васильевичем Захолустьевым, для которого «Москва была как лес: леший кружил его на одном месте» [Вельтман, с. 336].

Фамилия героя наталкивает на присутствие в романе почти ставшего архетипом мотива провинциала в столице. Иные скорости жизни не усвоили провинциалы. Поэтому столичный ритм им кажется бесовским кружением. Смещение пространственно-временных пластов возможно было именно в Москве, имеющей длинную историю, которая отметилась в знаковых элементах. Само название романа указывает на отраженное в нем «море житейское». Семантика моря многопланова. Само море образуется в результате слияния в нем разных рек, поэтому происходящее в романе кружение есть не что иное, как реализация замысла романа о движущейся истории. И ее можно наблюдать в Москве, но не в Петербурге. Наметившийся у Вельтмана мотив кружения в XX в. получает развитие в «московских» повестях А.В. Чаянова, сюжеты и мотивы которых словно бы подсказаны самой неупорядоченной, бесплановой, лабиринтной топикой Москвы.

В характере прорисовки московского локуса и отдельных фигур, с ним связанных, Чаянов является прямым предшественником М. Булгакова как автора «Мастера и Маргариты». Поэтому Булгаков, герой повести Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события моей жизни» (1921), действие которой происходит в 1805 г., блуждает по Москве, где до крайности запущенные Патриаршие пруды напоминают гниlostными испарениями о прежде существовавшем здесь болоте. Неглинка в повести Чаянова еще не спрятана в трубу, и на берегу ее, где позднее будет разбит Александровский сад, стоит домик Настеньки, героини повести. Но маршруты героев обоих

произведений нередко оказываются сходными настолько, что Иван Бездомный, пытающийся догнать компанию Воланда, и чаяновский Булгаков, чувствующий присутствие в городе инфернальной силы и бегущий от нее, с разных сторон устремляются к Арбатской площади: Бездомный со стороны Патриарших прудов, Булгаков со стороны Петровки. Однако в целом при попытке совмещения топографических схем «Мастера и Маргариты» и «Венедиктова...» обнаруживается, что московское пространство повести Чаянова шире. Включение в художественную топикау городской периферии приводит в повести Чаянова к ослаблению центростремительных сил, которые явно доминируют в романе Булгакова, и к перемещению носителей инфернального начала ближе к окраинам, а затем к выведению его за пределы Москвы и вообще России. (М. Булгаков, наоборот, смещает всю московскую «чертовщину» в центр, от которого разбегаются (вплоть до юга) «захваченные в плен» герои.)

Это не означает, однако, что, в понимании Чаянова, инфернальное чужеродно Москве. Изощренная лабиринтность Москвы, трудно преодолимая даже для коренного ее жителя, не только отмечена печатью домашности, но и таит в себе нечто зловещее или, как минимум, непредсказуемое. Потому у Чаянова, в частности, в другой повести «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Х. и иллюстрированные фитопатологом У.» (1924), московский лабиринт, встречаясь с иноземной инфернальностью, услужливо содействует ей. Он долго кружит героя повести, пока не выводит его, измученного блужданиями, к дому Якова Вилимовича Брюса, известного сподвижника Петра I, слывшего колдуном и чернокнижником. Но опять-таки, заметим, что все это происходит в особом, «немецком» районе Москвы, в Лефортово, которое в сознании многих москвичей было связано с представлениями об опасности сугубо инфернального свойства («Лефортовская маковница» А. Погорельского (1825) – яркий пример инферальности этого места в Москве).

В упомянутой повести Чаянова городское пространство Москвы уподобляется картам, разложенным на зеленом сукне стола в брюсовском доме и запутанным, как в сложном пасьянсе. В ходе сюжетного развития герою повести не дано подчинить себе ни собственную жизнь, ни городскую топикау, этой жизнью опосредованно управляющую. И то и другое остается под властью сил, вызванных Брюсом, сил, которые способны менять пространственные ориентиры и сам московский ландшафт, сохраняя или уничтожая дома. Тем не менее в повестях Чаянова, полагавшего, что каждый уважающий себя город должен иметь своих «домашних дьяволов», московская дьяволиада не охватывает все пространство Москвы и не определяет характер московской жизни. В этом отношении Чаянов отличен от Булгакова, который, рисуя Москву, почти полутора столетиями отделенную от чаяновской, показывает город, массово пораженный беснованием, первопричиной которого не является прямое, «персональное» вмешательство инфернальных сил. Воланд и его компания, вторгаясь в московскую жизнь, лишь доводят до неоспоримой очевидности то, что в каждодневном мире перестает быть замечаемым и ценностно осмысливаемым.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Прочитайте рассуждения Н.В. Гоголя в заметках «Петербург в 1836 г. ...» и выпишите в рабочую тетрадь важные, на ваш взгляд, характеристики Петербурга.

2. Прочитайте «петербургскую» повесть Н.В. Гоголя «Невский проспект» и составьте тезисный план-конспект петербургского текста (природа, строения, люди, история и современные события, предметы быта и культуры и др.). Сопоставьте петербургский текст повести с текстом заметок «Петербург в 1836 г.». Отметьте обнаруженные совпадения или отличия.

3. Прочитайте цикл М. Цветаевой «Стихи о Москве» и составьте характеристику образа Москвы. Раскройте характер лирического переживания в этом цикле.

4. Сопоставьте стихотворения М. Цветаевой о Москве со стихотворениями русских поэтов XIX века (А. Пушкина, Е. Ростопчиной, П. Вяземского) и выявите общее и отличное в столичном тексте.

5. Прочитайте пьесу А. Вампилова «История с метранпажем» и дайте ответы на следующие вопросы: а) компоненты «мифа» о Москве в сознании провинциала; б) оппозиция «Москва» – «провинция» в пьесе А. Вампилова; в) иронический пафос пьесы.

6. Сопоставьте пьесу А. Вампилова «История с метранпажем» с пьесой Н. Гоголя «Ревизор», выявите типологические черты столичных текстов в оппозиции «столица – провинция».

7. Прочитайте произведения А. Немтушкина и охарактеризуйте представленную в повестях «Мне снятся небесные олени» и «Солнечная невестка» антиномию «столичного» и «сибирского» текстов : а) культура и наука; б) образ жизни; в) Сибирь в восприятии столичного жителя и столичный житель в восприятии сибиряков?

III СИБИРСКИЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

3.1. Сибирский локальный текст русской литературы и культуры

XVII – первой половины XIX вв.

Северная Азия поздно сделалась известной европейцам, примерно к XVII в. «Но ледяные просторы ее морей, ее снежные пустыни, безграничные леса и недоступные горы уже с давних времен тревожили воображение западных путешественников и ученых-исследователей. Чем затруднительнее казался доступ в эти отдаленные края, тем сильнее разгоралось желание разведать их тайны и тем причудливее громоздились друг на друга рассказываемые о них сказки – об удивительных явлениях северной природы, о странных свойствах населяющих их людей и животных. Длинной цепью идут эти вымыслы сквозь почти всю европейскую историю, то как бы загораясь полнотой жизни подлинной

реальности, то вновь потухая в сумраке легенд и небылиц, которым верят, смеясь, и которые повторяют охотно, не страшась искажающих прибавок. Первые звенья этой цепи – в мифологических преданиях Древней Греции, последние – в географических трактатах позднего Возрождения. Более XX веков странствовали из страны в страну диковинные рассказы о краях вечного холода, безлюдья и смертной тишины, пока их не заменили, наконец, подлинными рассказами путешественников и сведениями, заслуживающие полного доверия» [Сибирь в известиях...].

Основные и достоверные сведения о Сибири стали доходить до европейцев с того времени, когда начался процесс заселения Сибири русскими.

Заселение Сибири русскими началось сразу же после похода Ермака в Сибирь. В XVII в. они освоили главным образом таежные районы Сибири. Заселялись сибирские земли тремя способами. Первый способ – это государственный (административный) перевод: правительство «по указу» переводило на вечное жительство определенные группы населения. Но этот способ по многим причинам оказался малоэффективным. Гораздо больший успех этот способ имел в деле комплектования отрядов служилых людей для посылки в Сибирь. Вплоть до второй половины XVII в. численность населения росла по преимуществу именно за счет посылки «по государеву указу» в Сибирь ратных (военнообязанных) людей из европейской части страны.

Вторым способом заселения Сибири стала ссылка преступников, к которым, кроме уголовников, относились и участники казачьих, крестьянских и городских восстаний, коими был так богат «бунташный» XVII в. Их ссылали как «в службу», так и «в посад» и «в пашню». Роль ссылки была очевидной: русское население увеличивалось быстрыми темпами.

Третий способ – это вольное переселение. Уже в предшествующем XVI в. появились первые русские переселенцы, пришедшие в Сибирь на постоянное место жительства на свой страх и риск. С течением времени поток вольных переселенцев нарастал и постепенно превысил число лиц, направленных в Сибирь по указу. Во второй половине XVII в. государство уже начало выставлять заставы, чтобы не пропускать в свободные сибирские земли вольных людей, не «селить их в службу и в посад не проверстывая». Но эти меры были малоэффективны: поскольку царские чиновники не проявляли настойчивости и «не чинили» контроль за исполнением указов, то сибирские воеводы и чиновники, не желая терять рабочие руки, эти указы не исполняли.

Принципиальным рубежом в заселении Сибири стали 1660-1670-е гг., так как именно с этого времени численность русского населения начала возрастать не столько за счет притока извне, сколько за счет естественного прироста.

Особо следует отметить, что в то время сибирские города представляли собой «искусственные образования», которые не появлялись в ходе экономического развития сельских поселений и их естественного перерастания в города, а стали результатом своеобразной «колонизации» Сибири и возникали на основе опорных (военных) пунктов. Последние являлись одновременно и укрепленными

военно-административными центрами, и торгово-промышленными факториями. В условиях окружения «немирными», а зачастую и открыто враждебными племенами в Сибири остро ощущалась нехватка ратных людей. В южных, пограничных со степью, районах русское население было поголовно вооружено и постоянно находилось в состоянии боевой готовности. После строительства укрепленных пунктов, получавших вскоре статус административного центра, служилые еще долгое время оставались если не единственной, то самой многочисленной категорией населения.

Хронологический образ Сибири в русской классической литературе представляет ее страной холода – зимы – ночи (луны), то есть смерти в мифологическом на нее воззрении. И хотя за Уралом три летних месяца по преимуществу стоит жара, в литературных пейзажах Сибири лето и солнце, как правило, не присутствуют. Одновременно Сибирь – страна безлюдного и беспредельного пространства.

Однако при всей своей фундаментальной «могильности» Сибирь была обильно населена дикими животными. В.И. Тюпа, исследователь сибирского интертекста, исходит из того, что «могильность» Сибири – «это вообще отнюдь не inferнальный хронотоп окончательной и бесповоротной смерти, но скорее «богоугодное» место временной смерти: лиминальный хронотоп смертельного испытания» [Тюпа, с. 255]. Это проистекает из того, что Сибирский тракт – самая большая и самая безобразная дорога на всем свете, а на отправившегося по ней автора смотрят как на покойника (как на смерть родные провожали декабристов, а потом жен декабристов, прощались с ними навеки).

В исследованиях этнографов лиминальной фазой переходного обряда инициации, как известно, именуется фаза символической смерти испытуемого – посещения страны мертвых, хозяином которой обычно выступает тотемное животное. Юноша, успешно выдержавший испытание смертью, после контакта с бестиарным первопредком возвращался к жизни будто заново родившимся – в новом социальном статусе мужчины: воина, охотника и жениха.

Ландшафт маргинального пространства каторги, ссылки и проживания различного рода изгоев с поражающими воображение лесами и реками, с растягивающейся на полгода зимой и полярной ночью в северных районах оказался благодатной почвой для актуализации одной из наиболее архаичных культурных моделей. Уникальное взаимоналожение геополитических, культурно-исторических и природных факторов привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти, открывающей проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве и соответствующего обновления жизни. Знаменательно предположение Чехова, что «на Енисее жизнь началась стоном, а кончится удалью».

Речь, разумеется, не идет о сознательном и продуманном обращении русских писателей к ритуально-мифологическому комплексу мотивов инициации. Данный мифотектонический подтекст, как и любой другой, являет собой феномен смыслоподражающего механизма трансисторической

культурной памяти – художественную форму имплицитного мифологизма, чья плодотворность не раз обнаруживалась потом в процессе развития русской реалистической литературы.

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как первоисточник сибирского текста

У истоков концептуализации Сибири как лиминального хронотопа русской литературы находится текст «Жития протопопа Аввакума» [Тюпа, с. 255]. Вольно или невольно, но ссылка в Сибирь обретает под пером Аввакума символические количественные характеристики: «Таже послали меня в Сибирь с женою и детьми. ... три тысячи верст недель с тринадцать волокли» [Аввакум, с. 27]. Если независимое от людей пространственное измерение «три» имеет позитивную, сакральную коннотацию, то временное «тринадцать», характеризующие человеческое действие, – негативную, демонологическую. Отправляемый из Тобольска на Лену и уповающий на Христа, Аввакум говорит: «...ожидаю милосердия Его и чаю воскресения мертвым» [Аввакум, с. 28]. Мытарства предстоящей христологической инициации заранее мотивированы: «...яко многими скорми подобает нам внити в царство небесное» [Аввакум, с. 28]. Фактология собственных страданий Аввакума насквозь пронизана символикой переходного обряда: «Стало у меня в те поры кости те щемить и жилы те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. <...>. Наутро кинули меня в лодку и напредь повезли. Егда приехали к порогу. К самому большому – Падуну <...> меня привезли под порог <...> льет вода по брюху и по спине. ... Из лодки вытаща, по каменьюскованаокол порога тащили. Грустно гораздо, да душе добро. <...> посеем привезли в брацкий острог. <...> и сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет» [Аввакум, с. 33].

В конце своих сибирских мытарств Аввакум восклицает: «Ну, слава Христу! Хотя и умрешь после того, ино хорошо» [Аввакум, с. 38]. Он знает, что такого рода смерть (через сибирские испытания, то есть, в понимании русского европейца, «землей смерти») обещает или даже гарантирует воскрешение.

Сибирский текст в русской поэзии XVIII в.

У истоков сибирского текста можно поставить и М.В. Ломоносова, который продолжил характеристики Сибири, но в другом ключе:

Коль многи смертны неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял...

Се мрачной вечности запону
Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм...

И далее идет известный текст:

О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

[Ломоносов, с. 69 – 70]

Так, Ломоносов формулирует вторую сторону сибирского мифа: это земной рай для просвещенного человека, это земля будущих гениев. В связи с этим текстом более понятными становятся его слова «Могущество России Сибирью прирастать будет».

В продолжение мыслей Ломоносова можно привести еще одно стихотворение из XVIII в.:

Дщерь Азии, богато наделенна!
По статным и дородным раменам
Бобровою порфирой облечена
С собольими хвостами по грудям,
Царевна! Серебряный венец носяща
И пестрой насыпью камней блестяща!
Славян наперсница, орд грозных мать.
Сибирь – тебя мне любо вспоминать.

.....

Пускай Европа чванится умами,
Пускай гордится блеском тонких дум!
Сибирь – гордится кроткими сердцами!
Что значит самый просвещенный ум?

.....

Страна моя! Тебя я не забуду,
Когда и под сырой землей я буду;
Велю, чтоб друг на гробе начертил
Пол-линии: И я в Сибири жил.
У нас весною любят богомолье,

Притом крестятся все одним крестом
За то бог дал в землях тако раздолье,
Что о межах судье не бьют челом;
Судье крестьянин не ломает шапки;
С женой, с детьми, как кот согнувши лапки,
В тепле катается, как в масле сыр.
Дай бог, чтоб продолжался так весь мир.

[Словцов, с. 523]

Весомый вклад в развитие сибирского текста внес ученый-этнограф Г.Ф. Миллер. Он довольно подробно описал условия жизни и характер местных аборигенов. В его записках чувствуется человеческое сочувствие и уважение к ним. Он писал: «Внутренние принципы порядочности не развиты так сильно ни у одного народа, как у тунгусов. Среди них ничего не слышно о воровстве, мошенничестве или иных преднамеренных обидах. Они гостеприимны и щедры. Я не раз замечал у нерчинских тунгусов: когда я дарил самому знатному из них китайский табак, бисер или другие излюбленные ими вещи, то он делил все подаренное между присутствующими, и это делалось не из страха или по принуждению, а единственно из стремления к общности». Далее автор рассуждает: «Строптивость и упрямство в начале занятия страны (русскими) наблюдались у некоторых народов в большей степени, чем у других. Остяки, особые языческие народы в Красноярском уезде и тунгусы подчинились новым хозяевам легче всего. Но из последних те, что относятся к Охотску, и тунгусы, живущие по Верхней Ангаре, неоднократно бунтовали и часто убивали русских. Причиной этого опять-таки отчасти было жестокое обращение со стороны русских начальников; отчасти это происходило, потому что их нередко грабили служивые и промышленные люди; отчасти – потому что они не хотели позволять русским охотиться на своей родной земле. Впрочем, некоторые племена тунгусов в Нерчинском уезде были приведены к покорности силой оружия...» [Миллер, с. 4].

Так, автор склонен видеть противоречия в Сибири, которые обусловлены коренными изменениями условий жизни как коренных народов, так и пришедших с другой земли русских. Складывается архетип «свой» – «чужой», получивший развитие во многих произведениях русской литературы. Миллер писал: «Из того, что какой-либо народ покорился добровольно, нельзя делать вывод о его малодушии. Более того, все тунгусы так храбры и мужественны, что им может позавидовать любой другой народ. Причина скорее в следующем. Те, кто кочует по лесам, большей частью держатся отдельными семействами. Поэтому у них было нетрудно захватить одного или несколько человек, которые были аманатами (или заложниками) и которых прежде держали во всех городах и острогах. Естественная доброта и искренность тунгусов, не желавших бросить аманатов на произвол судьбы, и являлись истинной причиной их покорности. Наоборот, у других народов, занимающихся скотоводством и тесно живущих в степях или поселениями, было не так легко получить

аманатов: чтобы защитить своих, они оказывали сопротивление, и тогда, зачастую, не обходилось без кровопролития. Таким образом, строптивость нерчинских тунгусов и податливость тунгусов лесных имеют один и тот же корень. Случалось также иногда, что аманаты в острогах и зимовьях убивали русских казаков». И далее: «Несправедливость, с которой относятся в Сибири к языческим народам, становится причиной того, что они очень робки. Во время нашего путешествия в Якутск мы встретили в Витимском округе нескольких туруханских тунгусов, возвращавшихся из района реки Витим, где они охотились, на свою родину на Нижней Тунгуске или Хатанге. Мы остановились около одной деревни (деревня Курейская) и увидели по другую сторону Лены тунгусов, идущих вдоль берега со всем своим имуществом. Но когда я отправил к ним посыльного с тем, чтобы они подождали меня, пока я к ним переправлюсь для расспросов, то все мужчины, шедшие впереди, сразу же скрылись в горах».

Приведенные высказывания Миллера о сибирских аборигенах весьма показательны. Они открывают проблему взаимоотношений русских с коренным населением Сибири. Эта проблема займет достойное место в сибирской прозе XX в. (А. Чмыхало, Ж. Трошев, А. Бондаренко и др.).

К XIX столетию Сибирь была не только освоена Российской империей геополитически, но и усвоена русской культурой в качестве некоторого концепта и интернационального объекта. Сибирь с ее каторгами, пересыльными тюрьмами, принудительными поселениями и одновременно искателями счастья (переселенцами) в национальном сознании мифологизировалась, стала общепонятным хронологическим образом определенного способа присутствия человека в мире. Об этом свидетельствует, например, такая фраза из частной переписки 30-х гг. XIX в.: «...а Кавказ у нас слывет хуже Сибири» [Тюпа, с. 254]. Ни в климатическом, ни в эстетическом отношении, ни в социальном Кавказ не мог представляться «хуже» Сибири. Это могло быть сказано только в одном смысле – «смертельности» данного пространства. В другом частном письме того же времени автор говорит о себе: «...ваш Мельмот жив даже и на Кавказе». Далее он заявляет: «Я не премину уведомить вас о себе, жив ли или убит» [Там же, с. 254]. Шутливо алогичная фраза мифологически трактует состояние смерти на Кавказе как естественное, как если бы это было место обитания мертвых. Можно понять автора писем и согласиться с тем, что Кавказ хуже Сибири: время написания писем соотносится с временем военных действий на Кавказе. В этом смысле вероятность смерти в этом крае на порядок была выше, чем в суровом сибирском краю или где-то еще в России.

Приведенное уподобление Кавказа Сибири далеко не случайно: именно Сибирь в российском культурном сознании обрела характеристики и свойства мифологической страны мертвых.

Мифологизация Сибири как лиминального пространства русской культуры окончательно сложилась благодаря отправке на каторгу декабристов. Однако соответствующий хронологический образ зауральских просторов колонизации, где телесное умирание может оказаться залогом духовного возрождения, начал складываться задолго до этого исторического события.

В своего рода пророческой поэме К.Ф. Рылеева «Войнаровский» Сибирь названа «страной метелей и снегов», «царством хлада», «царством ночи»; «здесь всегда сурова и дика ... угрюмая природа» [Рылеев, с. 227]. Мифопоэтика поэмы такова, что в ее тексте развернуты только ночные пейзажи. Например:

Погасло дневное светило;
Настала ночь...Вот месяц всплыл,
И одинокий и унылый
Дремучий лес осеребрил
И юрту путникам открыл.

[Рылеев, с. 238]

Юрта посреди дремучего леса вполне соответствует традиционному сооружению для обряда инициации как архаическое (в понимании европейца) жилье. Взгляд Войнаровского при этом сравнивается с тем,

Как в час глухой и мрачной ночи,
Когда за тучей месяц спит,
Могильный огонек горит.

[Там же, с. 238]

Что же касается обыкновенных людей (не живущих в Сибири), то о них так говорит автор:

Никто страны сей безотрадной,
Обширной узников тюрьмы,
Не посетит, боясь зимы.

[Там же, с. 229]

Поскольку зима как время года наступает в любом пространстве, то здесь она оказывается в восприятии пришедших в Сибирь чем-то иным – мифопоэтической персонификацией смерти.

Войнаровский, как и его жена, предварившая подвижничество жен декабристов, гибнет в Сибири. Она прошла все испытания, нашла затерянную в пространствах снегов и лесов хижину своего мужа, потратив на это все свои жизненные силы. Ее смерть после суровых испытаний Сибирью перекликается с цитируемыми выше словами Аввакума о «воскресении мертвым» и обретении «царства Божиего». Сам же главный герой претерпел собственную символическую смерть на Украине, в степи:

Все было тихо...Лишь могила
Уныло с ветром говорила.
И одиноко и бледна,
Плыла двурога луна
И озаряла сумрак ночи.

Я без движения лежал;
Уж я, казалось, замирал;
Уже, заглядывая в очи,
Над мною хищный вран летал.

[Там же, с 226]

«Двурогая луна», да еще в сопровождении «хищного врана», легко прочитывается как образ хтонического божества ночной страны мертвых, тем более что «замирание» происходит на могиле (могилами на Украине зовутся степные курганы). Наконец, после спасительного вмешательства будущей жены героя совершается его постлиминарное преобразование: «Я обновленный встал с одра» [Там же, с. 226]. Так, ритуально-мифологический комплекс мотивов инициации в поэме Рылеева связывает воедино южную ночь и зимне-ночной образ Сибири как маргинальной земли мертвых. Разница заключается в том, что Сибирь для него и для его жены – чужой край, здесь никто не придет им на помощь, потому что Войнаровскому запрещено было жить среди людей, даже аборигенов. Отсюда и вытекает авторское понимание Сибири как земли мертвых. Ученый Миллер, вернувшийся в Сибирь, чтобы сообщить Войнаровскому о смягчении его наказания, нашел своего несчастного знакомца мертвым на могиле своей жены. Так, жена своей жизненной силой когда-то спасла его от смерти (на родной земле), а в Сибири он не смог спасти ее и умер у нее на могиле. Важна одна деталь в этой сцене: Миллер его нашел уже занесенного снегом. Можно думать, что суровая земля приняла его и, как и подобает, засыпала, скрыла от мира живых. Иницируемым персонажем в поэме выступает не только свободолюбивый казак Войнаровский, а и вступающий с ним в контакт (словно с культурным героем-первопредком) представитель мира автора – ученый Миллер. Он отправляется в Сибирь со своими целям, случайно встречается с Войнаровским в тайге. Опальный казак рассказывает ему свою историю, после чего Миллер возвращается в столицу и ходатайствует о его освобождении. Ему удастся выполнить это дело, и с радостными вестями он снова отправляется в Сибирь. Но его товарищ, как было сказано, уже замерз... Если посмотреть на движение этого героя поэмы, то в Сибирь он едет радостно, в столице он прошел все круги ада (своеобразный инициальный обряд). Заметим, что пребывание Миллера в Российской академии было связано со многими сложностями. Его не всегда понимали как ученого. Так, Сибирь стала для него и местом смертельной опасности, и «райским» местом для научных изысканий. Действительно, записки Миллера о сибирских народах говорят о его желании как можно больше сказать о них просвещенным людям, самое главное, о их достоинствах по сравнению с цивилизованными народами.

Таким образом, складывающееся и закрепляющееся в интертекстуальных повторах мифотектоническое пространство художественной природы оказывается ключом к целому ряду произведений русской классической литературы, в частности к знаменитому посланию «В Сибирь» Пушкина, где после тоекратного поэтического эвфемизма могилы заживо погребенных («глубина

сибирских руд»; «мрачное подземелье»; «каторжные норы») в заключительной строфе звучит бравурное:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

[Пушкин, т. 1, с. 230]

Было бы в высшей степени наивно полагать, что Пушкин возлагает надежду на более удачную попытку нового государственного переворота. Скорее всего, это эксплицированная модель чаемого Пушкиным возвращения декабристов в новом статусе национальных героев: слово «меч» обладает многозначностью. В его семантическое поле входит и такое значение, как «честь». Так, можно предполагать, что Пушкин мечтает о том, что декабристам вернут их попорченную честь благородных граждан России. Возвращение к прежнему в новом статусе и есть завершающая фаза ритуала инициации.

Многие декабристы оставили свои записки о Сибири. В них нашли отражение разные стороны их жизни. Конечно, для них Сибирь стала местом ссылки, то есть неволи. Сложно в таких обстоятельствах объективно оценивать Сибирь. Во всем многообразии суждений о природе и людях Сибири особенно выделяются характеристики А. Бестужева-Марлинского. В «Письме к Доктору Эрману» писатель-романтик изображает реку: «Путешествие мое было не очень сентиментально, зато очень живописно. Вы ничего не видели, не увидев Лены весною; это прелесть. За каждой излучиной новая картина, новое очарование. Вообразите разлив вод, которому в пору гомеровское выражение: поток-океан, высоко упершийся в утесы и отражающий лесистые вершины их в своем зеркале. И все дико, и все тихо. Не голос человека – один рокот грома смущал там порой сон полупробудившегося творения... и как величава гроза над этим краем! Молния то расшибалась о череп скал, то жар-птицей купалась в кипящих, мутных валах. Кедровые падали, как тростник под тяжким полетом туч, и возмущенный бор плескался и выл, как море. Но зато как мирно, как радостно выходило утро на крыльцо гор, сыпля рубины с крыльев своих» [Марлинский, т. 1, с. 297]. Если выделить в этом описании основную составляющую текста, то она будет связана с указанием на то, что все процессы, происходящие в природе, являют собою стихию, поражающую сознание путешественника. Это буйство природы есть воплощенная жизнь, сильная и всеразрушающая: пробуждающаяся великая сила. Заметим, что автор видит и то, что такие воды обладают разрушительным действием, они губят и самые крепкие деревья; одно слово – стихия, но какая поэзия в ней видится автору.

3.2 Сибирский текст русской литературы второй половины XIX - XX вв.

Существенными этапами наращивания «сибирского» текста русской литературы явилось творчество Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.

В дилогии «Русские женщины» помимо использования мотива нисхождения ангела в ад (связан с княгиней Волконской, посетившей «подземелье»), Некрасовым разворачивается целый ряд картин лиминального характера, легко воспринимаемых как традиционный сибирский пейзаж:

Мороз сильней, пустынной путь,
Чем дале на восток;
На триста верст какой-нибудь
Убогий городок,
Зато как радостно глядишь
На темный ряд домов,
Но где же люди? Всюду тишь,
Не слышно даже псов.

.....

Направо – горы и река,
Налево – темный лес...

.....

Пропали горы; началась
Равнина без конца.
Еще мертвей! Не встретит глаз
Живого деревца.

.....

Но хуже, хуже в руднике.
Глубоко под землей!...
Там гробовая тишина,
Там безрассветный мрак...
Зачем, проклятая страна,
Нашел тебя Ермак?

.....

Луна плыла среди небес
Без блеска, без лучей,
Налево был угрюмый лес,
Направо – Енисей.

Темно! Навстречу ни души.
Ямщик на козлах спал,
Голодный волк в лесной глуши
Пронзительно стонал...

[Некрасов, с. 231-235]

«Поскольку сон мифологически мыслится редуцированной смертью, то в мифопоэтическом прочтении текста княгиню Трубецкую везет мертвец, и ее поджидает тотемное животное – волк, существенный атрибут обряда инициации» [Тюпа, с. 260].

Поэма «Русские женщины» написана автором, не посещавшим Сибирь, а знавшим ее по культурным источникам. В реалистичности описаний у современников Некрасова сомнений не было. Поэт отчетливо воспроизвел архетип мертвой страны. Здесь будет кстати отметить, что поэт очень внимательно относился к героико-романтическому творчеству Рыльева и продолжил его традиции не только в плане воспевания поэта-гражданина, но и в восприятии Сибири. Некрасова интересовали не историко-культурные характеристики Сибири, а ее эстетическая сторона – воздействие на героев. А с этой точки зрения Сибирь была, несомненно, адом.

«Записки из мертвого дома» Ф.М. Достоевского – очевидная хроника жизни человека, находящегося по ту сторону жизни и ожидающего возвращения в покинутый реальный мир. Обряд инициации в этом произведении еще не завершен, «выход-возвращение» просветленным еще не состоялся, но в эпилоге романа «Преступление и наказание» отчетливо проявляются лиминальные мотивы.

Эпилог начинается словами: «Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит <...> острог. В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда, Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года» [Достоевский, т. 5, с. 517]. Число месяцев жизни в остроге не случайно: оно сигнализирует о близящемся рождении (возрождении) героя. Сначала автор описывает его болезненные сны: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии в Европу.<...> Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю...» [Там же, с. 530].

Чудо воскресения совершается вслед за глубокой и длительной болезнью Раскольникова на самом берегу сибирской реки и с помощью все той же женщины (в данном случае – Сони): «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. <...> Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [Там же, с. 532]. За несколько мгновений до совершающегося с ним внутреннего преображения Раскольников посмотрел на противоположную

сторону реки, словно заглядывая через лиминальную границу: «С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи ... как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его» [Там же, с. 531].

Сумрачная Сибирь (острожная) оказывается порогом, ставящим героя на грань солнечной вечной (библейской) жизни, после чего должна начаться история обновления человека, его перехода от одного мира в другой. Этот другой мир соотносится совсем не с западной территорией геокультурного пространства России. Раскольников на другом берегу видит «кочевые юрты», то есть он смотрит на восточный, азиатский мир. И там видит признаки «райской» жизни. Возникает ассоциативная связь увиденной реальности с большими грезами: в них он видел идущую из Азии в Европу страшную моровую язву. Эта язва, как рассуждает Раскольников, страшна лишь для людей порочных, а не для чистых. Следовательно, именно Сибирь является воплощением истинных знаний о райской жизни. Она (читай – язва) убивает в людях смертный дух, поразивший их на пути европейской (западной – читай: страны «умирающего» солнца) цивилизации. Не случайно на остающиеся семь лет каторги Раскольников смотрит как на семь дней (количество дней для сотворения нового мира), и эту веру в жизнь он получает от самой жизни, которую он не знал ранее: «Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних» [Там же, с. 531].

Создавая роман об аналогичном духовном преображении павшего героя, Л.Н. Толстой в третьей части «Воскресения» сполна реализует уже накопленный сибирским интертекстом русской литературы мифопоэтический ресурс лиминальной символики. Духовную инициацию проходит в Сибири не только по своему желанию поехавший туда Нехлюдов, но и каторжная Катюша Маслова. «Вот плакала, что меня присудили, – говорила она. – Да я век должна бога благодарить. То узнала, чего во всю жизнь не узнала бы» [Толстой, т.10, с. 385]. Главное, она узнала, что «все в мире живое, что мертвого нет» [Там же, с. 388]; «что ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую... так и человек не уничтожается, но только изменяется» [Там же, с. 413]. Приведенные высказывания соотносятся с лиминальным опытом смерти-рождения – основным диалектическим законом всеобщих знаний (философско-теософских).

Персонажи романа, состоящие на службе в Сибири, говорят о себе так, как если бы они были могильщиками, исполнителями ритуальных услуг: «Живешь в этой Сибири, так человеку образованному рад-радешенек. Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная. А когда человек к другому привык, так и тяжело. Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер – значит грубый человек, необразованный, а того не думают, что человек может быть совсем для другого рожден» [Там же, с. 401]. В то же время губернатор в романе знаменательно называет Сибирь «тридевятым царством», то есть местом, куда устремляются герои волшебной сказки. Практически все

сюжеты волшебных сказок возникли на обряде инициации. Герои сказок претерпевают испытание смертью, обретают некое новое качество и возвращаются в жизнь счастливыми.

Содержание последних глав романа и состоит в разворачивании ситуации подобного рода. Накануне решающего преобразования главному герою, как и Раскольникову, дано увидеть солнце, что для «литературной» Сибири (созданной европейскими русскими) большая редкость, а поэтому «солнечные» сцены имеют особое значение в понимании авторского замысла. «На половине перегона лес кончился, и с боков открылись елани (поля), показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем разгулялся. Облака разошлись, солнце поднялось выше леса. И мокрая листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце. Впереди направо, в сизой дали, забелели далекие горы. Тройка въехала в подгороднее большое село. Улица села была полна народом: и русскими, и инородцами в своих странных шапках и халатах. Пьяные и трезвые мужчины и женщины копошились и галдели около лавок, трактиров, кабаков и возов» [Там же; с. 437].

Так, Толстой повторяет набор деталей, характеризующих ситуацию «перехода» героя от одного состояния к другому: берег, река, жизнь на другом берегу, солнце, женщина. Более того, он дописывает этот процесс, изображая сцену переправы через речку на другой берег: «Быстрая, широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты. <...> Нехлюдов стоял у края парома, глядя на широкую быструю реку. В воображении его, сменяясь, восставали два образа: вздрагивающая от толчков голова в озлоблении умирающего Крыльцова и фигура Катюши, бодро шедшей по краю дороги с Симонсоном» [Там же, с. 438]. Сцена объяснения Нехлюдова с Катюшей является кульминационной в своеобразном обряде инициации: Нехлюдов внутри устал от такой жизни и хочет иметь жену и детей, но не может отказаться от Катюши. Маслова, любя Нехлюдова, понимает, что с ней он не будет счастлив в жизни. Потому что она уверовала в другие идеи. Она берет на себя ответственность в решении этой ситуации: «Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что... она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним. <...> Нехлюдов... вдруг почувствовал страшную усталость... от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном» [Там же, с. 456]. Заканчивается роман обретением нового смысла жизни: «Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам». А мы ищем остального и, очевидно, не находим его.

«Так вот оно, дело моей жизни. Только кончилось одно, началось другое».

С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение» [Там же, с. 468].

Чеховский «сибирский» текст продолжает и расширяет «сибирский» интертекст. Его рассказ «В ссылке», можно сказать, впитал в себя лиминальные мотивы мифологемы Сибири, упроченные предшественниками. Но писатель дал им несколько иное развитие.

Место действия в рассказе – переправа через темную холодную реку, от которой «веяло пронизывающим холодом» [Чехов, т. 7, с. 93]. На противоположном берегу, будто сигнализируя о преисподней, «змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки» [Там же, с. 88]. Один из героев констатирует: «Оно, конечно, тут не рай... вода, голые берега, кругом глина и больше ничего». Он замечает, что дома в Симбирской губернии другие, «не такие звезды и не такое небо», как здесь, в Сибири [Там же, с. 88]. Так, Сибирь для него не территория дома. Она чужая земля.

Пейзаж переправы не только разворачивает мотив реки, размежевывающей пространство жизни и смерти, но и содержит в себе легкий намек на обиталище бабы-яги из волшебной сказки: под крутым глиняным обрывистым берегом приютилась «избушка, крытая бурою соломой» [Там же, с. 93]. Упоминание о том, что на рассвете здесь слышно, как «пели петухи» в деревне, бросает на избушку семантический отсвет: она стоит отдельно от других домов, как и избушка бабы-яги стоит в «темном лесу». Известно, что баба-яга является неким проводником из мира живых в мир мертвых. В этом смысле избушка переправщиков, действительно, соотносима с избушкой бабы-яги.

Другая деталь пейзажа – «ржавая баржа», которую перевозчики называют «карбасом». Она принимает облик некоего, возможно, тотемного существа (играет существенную роль в жизни путешественников): «было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара» [Там же, с. 94]. Мотивы кошмарного сна и унылого холода столь же существенны для актуализации мифологемы страны мертвых. В тексте содержится еще один намек на нескончаемость в сибирском краю допасхального, мертвого времени года: «Святая давно уже прошла, а на реке лед идет и утром нынче снег был» [Там же, с. 87]. Снег продолжает идти по ходу повествования в рассказе.

Собеседники-антагонисты на переправе названы стариком и мальчиком. Эта возрастная антиномия, несомненно, способствует активизации мотивного комплекса смерти-рождения (посвящения в сакральные знания). Знаменательно и то, что старик называет молодого братом, что может означать не только их родство в причастности к лиминальному хронотопу, но и другое родство, социальное – они оба ссыльные. Старик проповедует инициацию как стандартное преобразование в Сибири, которое прошел он: «Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, Беса, – он до добра не доведет, в петлю затянет <...> Если, говорю, желаете для себя счастья, то первое всего ничего не желайте» [Там же, с. 89]. Старый перевозчик уверен, что в Сибири люди не живут. И эту мысль он внушает татарину,

который мечтает, что к нему приедет его жена. И после оскорбительного, ироничного замечания Семена (прозвище Толковый) в адрес барина-старика, перевозимого на барже, и совета ему не искать понапрасну доктора для больной дочери молодой татарин, дрожа, заговорил: «Он хорошо... хорошо, а ты – худо! Ты худо! <...> барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтобы живой был, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина!» [Там же, с. 95]. Не хочет умирать душой молодой волгарь в Сибири.

Так, идейный спор в рассказе идет по поводу того, живут ли люди в Сибири или не живут. Почва для такой несколько экстравагантной постановки вопроса подготовлена всеми предыдущими «главами» сибирского интертекста. Однако в рассуждениях Чехова обнаруживается, что никакой мифопоэтической универсальности здесь нет: ответ зависит от экзистенциальной позиции человека, а следовательно, и от позиции автора. Таков чеховский вариант художественного завершения базовой интертекстуальной ситуации.

Чехов написал и опубликовал рассказ «В ссылке» в 1892 г. Финал рассказа открытый: татарин плачет у костра, Семен спит в своей избушке под обрывом, в которой холоднее, чем на улице. На улице татарин сидит у костра, а в избушку открылась дверь и в ней гуляет ветер – костра в ней не зажжешь.

Так, рассказ А.П. Чехова заканчивается рассуждением о холоде, его смертельной силе. Выясняется, что она не для всех смертельна. Семену холод не страшен: он не мерзнет. Получается, что в его организме нет того, что может вступить в противоречие с внешним холодом. Иначе – он сам холодный. Именно об этой «смертельной» сущности Толкового и говорил ему молодой волгарь.

В упоминаемом выше рассказе Чехова лейтмотивом выступает фраза: «Живут люди в Сибири». Она имеет разные акценты: звучит как вопрос, как ирония, как уверенность. (По сути дела, Короленко тоже искал ответ на этот вопрос). Позднее Чехов вернулся к теме Сибири и продолжил развитие сибирского текста в рамках путевых записок: он проехал по Сибири до Сахалина. Многие свои наблюдения автор запечатлел в очерках «Из Сибири».

Первое препятствие, с которым сталкиваются путешественники в Сибирь, – это реки и переправа через них. В первой части записок создается художественный образ первой большой реки в Сибири – Иртыша. Описание этой реки создает восприятие пространства как пространства смерти: «Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам» [Чехов, т. 10, с. 19]. Вполне понятны аллюзии художника с Иртышом как местом гибели многих русских казаков, пришедших в Сибирь с Ермаком. Их нет, но они через воды Иртыша («тыш» в переводе – «тишайший») напоминают о том времени и предостерегают в настоящем: каждый пускающийся в Сибирь должен помнить, что он переступает какой-то рубеж. И это может быть рубеж между жизнью и смертью. Так, лиминальный хронотоп напоминает о себе в этих говорящих деталях уже не художественного, а действительного мира.

По записям автора можно составить его впечатление от сибирских дорог. «Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете... На каждой станции мы, грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся: «Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станционные писаря и старосты говорят нам:

– Это еще ничего, а вот погодите, что на Козульке будет!

Пугают Козулькой на каждой станции... Козулькой называется расстояние в 22 версты между станциями Чернореченской и Козулькой (это между городами Ачинском и Красноярском)» [Там же, с. 28]. Потом идет описание этого гиблого места: «Жидкая грязь, в которой тонут колеса, чередуется с сухими кочками и ухабами; из гатей и мостиков, утонувших в жидком навозе, ребрами выступают бревна, езда по которым у людей выворачивает души, а у экипажей ломает оси» [Там же, с. 31]. Читателями-сибиряками, проживающими в центральных северных районах края, эти описания не воспринимаются как факты из далекого прошлого: много еще подобных лесных дорог в крае, и не скоро они исчезнут. (Не случайно администрацией края принята программа с полумистическим названием – «Дороги».) Если перевести эту почти мифологему на язык прагматики, то в качестве объяснения плохих дорог в Сибири следует назвать действие во многих районах «законов» вечной мерзлоты, при которой можно делать только навесные дороги удобными для езды и долговечными. Так, мотив сибирской дороги в записках из Сибири Чехова продолжает миф об этом крае как о земле, не поддающейся преобразующей силе человека, живущей по своим законам. Это нужно понять и принять как реальность. Здесь будет кстати вспомнить петербургский миф о городе, в котором властвует не человек, а стихия воды.

Чехов описывает довольно подробно тех, кто движется по этим дорогам. «Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

– Из какой губернии?

– Из Курской. <...>

Эти, что плетутся теперь по дороге, около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...» [Там же, с. 6]. Многоточие в конце фразы приоткрывает недосказанное автором. Кто эти люди, которые сами отправились в Сибирь, в масштабах страны, ее истории, истории народа? Думается, такие вопросы могут продолжать мысли автора. Если использовать метафизический язык – они устроители земли русской. Иначе – они миссионеры. Автор записок не приводит слов самих движущихся крестьян, и это делает выдвинутое предположение вполне обоснованным. Люди идут в Сибирь жить, а не умирать. Они подвижны высокой мечтой и отдаются в руки судьбы.

Другие путешественники на дорогах Сибири – это арестанты. «Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге тридцать-сорок арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади – две подводы. <...> А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же поваляться спать, и тотчас же облепят их клопы – злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать» [Там же, с. 7]. Если использовать мифопоэтический подход к описанной ситуации, можно сказать, что эти путешественники движутся к смерти: им хочется спать. Как было отмечено выше, сон – это редуцированная смерть. Они не ложатся спать, а падают. В эту ситуацию (Сибирь) они не сами попали, их отправили. Чехов также не комментирует их отношение к себе, но характером описания склоняет читателей к подобным рассуждениям.

Третьи герои дорог – это ямщики: «Ямщики ругаются во все горло, так, что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики и перевозчики» [Там же, с. 10]. Чехов не проясняет, ругаются ямщики между собой или же ругают «оскорбительно» того, кого везут. Подобную ситуацию ссоры ямщиков описал В.Г. Короленко в рассказе «Мороз». Они спорят о том, кому очередь везти путника, так как это заработок. Или же о том, кому везти (чья очередь), потому что на улице мороз. А еще они бранят того переселенца, из-за которого им приходится в лютый мороз выезжать из дома. Их жизнь на грани жизни и смерти накладывает отпечаток не на их характер (дома они мирно, без бранных слов, как показывает Чехов, пьют чай), а на «производственные отношения». Подчеркивая разницу между словами ямщиков и их делами, Чехов приводит следующее наблюдение: «...по всему тракту не слышно, чтобы у проезжего что-нибудь украли, нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник» [Там же, с. 15].

Сибирские почтальоны – еще одни постоянные путешественники по сибирским дорогам – вызывают у автора восхищение: «Крест у них тяжелый. Это герои, которых упорно не хочет признавать отечество. Они много работают, воюют с природой, как никто, подчас страдают невыносимо, но их увольняют, отчисляют и штрафуют гораздо чаще, чем награждают» [Там же, с. 30]. Эта обобщающая авторская характеристика службы почтальонов содержит одну немаловажную деталь: их не признает отечество. Автор не говорит о почтальонах как о чиновниках низшего класса, которых не замечают по службе вышестоящие (сидящие в тепле) чиновники, – их не хочет отмечать «отечество». Безусловно, есть какой-то смысл в этих странных рассуждениях. Нужно понять, что такое почта вообще и в Сибири в частности.

Почта – это, в первую очередь, дело государственное. Почта доставляет во все уголки государства политического характера указы и приказы власти, «решает» экономические вопросы, в конечном счете, решает судьбы людей (цель почты – прийти вовремя в положенное место). Расстояния Сибири таковы, что реализовать эту цель бывает практически невозможно (природа оказывает сильное сопротивление). Сибирь населена беглыми каторжными, которые разбойничают на дорогах. Нечеловеческие условия исполнения государственной службы, а прав и почестей за эту службу практически нет. Оценить роль почтальонов в отечестве можно лишь тогда, когда они прекратят исполнять свою нелегкую работу. Так, лирическое рассуждение Чехова приводит к пониманию важности самих записок о Сибири: Чехов в них говорит про всю Россию, беды которой и достоинства особенно проявляются в Сибири, которая является квинтэссенцией России.

Перечислив основные разряды путешественников, автор не мог обойти в записках вопроса о том, что же едят путешественники и сибиряки. «Хлеб везде по сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве» [Там же, с. 16]. И это русская традиция («хлеб всему голова»), поэтому он должен быть хорошим. Но про другую пищу на постоянных дворах и в домах автор говорит неприязненно: «...похлебку есть нельзя: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и потроха, не совсем очищенные от содержимого. Невкусно и смотреть тошно. В каждой избе – дичина. В Сибири никаких охотничьих законов не знают и стреляют птиц в продолжение всего года» [Там же, с. 16]. Широко известно чеховское рассуждение о человеке, в котором все должно быть «прекрасно». Так, прекрасной должна быть и пища. Этого в Сибири он не встретил. Сибиряк готовит такую пищу, которая согреет и даст силы. Его прагматизм в этом деле не был побежден европейской культурой приготовления и принятия пищи. Если вспомнить народные сказки и разного характера предания, то выйдет, что основной едой крестьянина были «суп да каша». Поскольку в Сибири нет тех пространств, засеянных разными злаками, то и с кашей дело обстоит не совсем хорошо. А вот дичи – сколько хочешь. Чехов пишет: «... в жизни не видал я такого множества дичи» [Там же, с. 5]. То есть чем богаты, тем и делятся сибиряки с другими.

Другая составляющая социокультурного образа Сибири – населенные пункты вдоль Сибирского тракта, по которым, в основном, и судили о сибирской земле проезжающие.

Чехов замечает: «По Сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите ни фабрик, ни мельниц, ни постоянных дворов... Единственно, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы» [Там же, с.12].

Замечание автора записок содержит некий подтекст: в Сибири не живут одиночки (хуторяне). Автор приводит читателей к рассуждениям о том, что люди в Сибири объединяются в большие сообщества, в одиночку здесь не прожить. Другой аспект – нет промышленных объектов в Сибири.

Думается, что такое замечание может быть предпослано многим регионам России: не во многих регионах на тот момент промышленные объекты бросались в глаза: они принадлежали лишь большим городам. Но само замечание имеет какую-то тенденцию. Нет «постоялых дворов» – это как бы крик путешественника, которому негде вообще-то остановиться, проезжая Сибирь. Наверно, это не так. Постоялые дворы – это уже «коммерческие заведения», и, конечно, они были в Сибири. Но Чехов говорит о том, что они не составляют тенденции, не являются обязательным атрибутом дороги через Сибирь. Если проезжающему нужно остановиться, он может постучаться в любой дом, и его впустят обязательно, не потребовав платы. Это совершенно другие обстоятельства.

Вот как автор описывает свое пребывание в одном из таких домов: «...я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, пью чай. Горница – это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашенные или покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховых подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь – утонешь. Сибиряки любят мягко спать» [Там же, с. 12-13]. Именно в этой части очерка Чехов создает светлый мир сибиряка: «Хозяйка, женщина лет двадцати пяти, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьет ей в глаза, в грудь, в руки, и, кажется, она замешивает тесто с солнечным светом» [Там же, с. 13]. Так, в записках реализуется намеченная антиномия: на улице – грязь, в доме – чистота, идеальные условия для покоя. Это светлое впечатление о сибирских домах поддерживается рассказом хозяйки, которая впустила в дом постороннюю женщину с ребенком, одетую, как барыня, а та ушла якобы в Омск за мужем и больше не вернулась. «И вот уже два месяца прошло, а она ни сама не едет, ни письма не шлет. Наказание господне! Полюбили мы Сашу, как родного, а сами теперь не знаем, наш он или чужой» [Там же, с. 14].

В соотнесении с рассказом о простых сибиряках, живущих и работающих для себя и для других и отдыхающих в чистоте и уюте, ярче проясняется смысл довольно пространных рассуждений автора о русских ссыльных интеллигентах, о их восприятии жизни: «Живется им скучно. Сибирская природа в сравнении с русской кажется им однообразной, бедной, беззвучной; на Вознесенье стоит мороз, а на Троицу идет мокрый снег. Квартиры в городах скверные, улицы грязные, в лавках все дорого, не свежо и скудно, и многого, к чему привык европеец, не найдешь ни за какие деньги. Местная интеллигенция, мыслящая и немыслящая, от утра до ночи пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея; после первых же двух фраз местный интеллигент непременно уже задает вам вопрос: «А не выпить ли нам водки?» [Там же, с. 27]. По сути, эти характеристики мало чем отличаются от тех, которые свойственны художественным образам чеховских интеллигентов. Может, сказанное в записках грубовато, может, пьянство интеллигентов преувеличено. Но пафос автора вполне понятен. Они

находятся в чужом для них мире, поэтому и воспринимают его с плохой стороны. Экзистенциальность как основа мировосприятия Сибири в этой части записок Чехова становится очевидной. В этом смысле глубоко экзистенциальной воспринимается следующая фраза автора: «Сила очарования тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только птицы перелетные знают, где она кончается» [Там же, с. 22].

Заканчиваются записки пафосным описанием енисейской тайги и размышлениями о будущем этого края. В этой части автор описывает удивительно красивую реку, с которой не может сравниться даже Волга. Символической кажется и следующая зарисовка: «Утром идет снег и покрывает землю на полтора вершка (это 14 мая!), в полдень идет дождь и смывает весь снег, а вечером, во время захода солнца, ... идут и дождь, и крупа... И в это же время происходит явление, которое совсем не вяжется со снегом и холодом: я ясно слышу раскаты грома» [Там же, с. 23]. Если на Иртыше ему слышен был гром из преисподней, то здесь он слышит небесный гром. Смысловое содержание этого символического знака многомерно, но в контексте описанной картинке он может говорить о неразгаданной тайне, хранящейся в самой природе Сибири. Он верит, что у этого края будет прекрасное будущее. Таким образом, Чехов для себя и для русской литературы дал ответ на вопрос: «Живут в Сибири люди?». Ответ по своей сути соотносится с текстом Ломоносова о могуществе России и роли Сибири в ее развитии.

Н.Г. Короленко, современник Чехова, познавший силу сибирского холода на себе, в своих произведениях продолжает начатый Чеховым разговор об избирательном воздействии сибирского мороза. В рассказе «Мороз» он повествует о путешествии героев по казенной надобности во время начала сибирской зимы. Человек еще не воспринимает осенний холод как смертельную угрозу, а природа ее ощущает. «За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелета, остались умирать на этой холодной реке. <...> теперь они вдвоем метались по узкой полынье, охваченные холодным паром. А кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы» [Короленко, с. 285].

Нельзя без внутреннего напряжения читать эти строки, отражающие весь природный хаос. Слабым в этом мире нельзя быть, всеобщий закон естественного отбора действует с показательной силой. Ни река не может спасти гибнущих птиц, ни человек: утку одну герои поймали, а другая ушла под лед, но пойманная по дороге все равно сдохла.

«Потом ударил мороз в тридцать, тридцать пять, сорок градусов. Потом на одной из станций мы уже видели замерзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полет, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные и злые...

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания не хватает, моргнешь глазами – между ресницами протягиваются тонкие льдинки. Холод забирается под одежду, потом в мускулы, в кости, до мозга костей. Как говорится, – и говорится недаром» [Там же, с. 287]. Так, прежде чем начнет мерзнуть человек, мороз убивает окружающий его мир. Думается, что здесь значима и деталь с ртутью. Именно этот жидкий (жизненный) элемент является по сути дела индикатором жизни и смерти. И если ртуть замерзла, то тогда в природе уже нет того, что бы ответило на вопрос о ее состоянии. Можно предполагать, что это состояние – состояние смерти.

Далее рассказчик повествует о том, как их повозка проехала мимо сидящего у костра человека, который пешком шел с прииска, где покалечился. Вслед за ослабленными птицами автор изображает ослабленного человека. Никто из проезжающих его не подбирал: «он идет – значит идет». Но вслед за обычным холодом начинается морозная буря: «Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара. < ...> По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность ее гудела, точно пустой ящик под ветром. <...> Охлажденный ниже сорока градусов, воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслись волны бездонного океана...» [Там же, с. 290]. Автор номинирует эту движущуюся силу в обобщенной характеристике – «кто-то огромный». Мистический фантом угрожает всем, даже спрятавшимся в домах людям, медведям в берлогах, зверям в норах, птицам в дуплах и т.п.

Когда герои, спасшиеся от мороза, согрелись, то вдруг разом вспомнили про человека в лесу. Молодой поляк Игнатович заговорил: «Я знал, что это было наяву... Мы все видели... все... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... вы это знаете. И я знаю, и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие» [Там же, с. 293].

В результате действия «оттаявшей» совести и денежных посулов хозяин дома и рассказчик-путешественник все-таки отправились на спасение переселенца. Нашли его уже мертвым. Герой-рассказчик рассуждает: «У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты и на зрачках сел иней...» [Там же, с. 298]. Пошедший на поиски замерзающего переселенца поляк Игнатович (именно он спасал в проруби уток) тоже замерз, потому что не знал дороги и заблудился. Почему он так поступил? Почему пренебрег элементарным здравым смыслом? На эти вопросы слушателей (и читателей) рассказчик отвечает предположительно: «Ему просто стало невыносимо... И еще... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса. Романтик в нем казнил материалиста» [Там же, с. 299]. В этой фразе сопрягаются два полюса: романтизм и прагматизм. Автор приводит читателей к мысли, что о прагматизме в Сибири забывать

нельзя (равно как и везде) – не спасешься. Но и «понижать температуру тела на два градуса» тоже нельзя, потому что весь мир рухнет: никто в критических условиях ничего делать не будет. А критические условия в Сибири длятся чуть ли не круглый год. Отсюда следует, что выжить в Сибири можно при том условии, что внутрь нельзя допускать холод.

В рассказах В.Г. Короленко поражает «обилие» мороза. Он становится основным действующим персонажем в повествовании. По особому ярко проявляется его могильная сила в рассказе «Сон Макара». Это святочный рассказ. Особым жанровым каноном святочного рассказа является совершение чуда, которое связано с Рождеством. В нем рассказывается о судьбе Макара, живущего в Якутии. «Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом. Сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали» [Там же, с. 105]. Макар стал много пить, пропивая заработанное в день. В день перед Рождеством он напился до видений. Ему привиделось, что в его капкан попала лисица. И когда якуты «спешили в церковь», он отправился в тайгу за лисицей, чью шкуру намеревался продать, чтобы старуха не ругала его за пропитые дрова. Так, автор противопоставляет мир праведных христиан. Они радуются рождению своего бога, а Макар весь погружен в мысли о добыче.

Весь сюжет рассказа сопровождается лунным пейзажем, приобретающим просто зловещие очертания. «Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу» [Там же, с. 111]. Или: «Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, приснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги...» [Там же, с. 111]. После описания драки Макара и Алешки из-за лисицы (она спокойно убежала, забытая ими в момент драки) автор снова обращает внимание читателей на свет с небес: «Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния» [Там же, с. 114].

Оставшись один в лесу, Макар не смог найти из него дорогу. Он потерял жизненные силы и «праведную дорогу», а свет в тайге угасал. «Макару стало горько. Между тем, тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватили его за волосы, били по глазам, по лицу...» [Там же, с. 115]. Все животные, даже зайцы, окружили его и смеялись. «Он лег в снег. Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана. Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих. И Макар умер» [Там же, с. 115].

Так, в дальнейшем происходит своеобразный обряд очищения и возрождения. Макар, попавший на том свете на суд Тойона, рассказывает правду о себе, что он в жизни был гоним всеми, много страдал, поэтому много пил. «Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила звездочкой в тумане – надежда <...> Теперь он стоял у конца, и надежда угасла. Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью» [Там же, с. 131]. Но Тойон ему объяснил, что он не на земле и больше с ним ничего такого не случится. «И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось... И он заплакал» [Там же, с. 131]. Так совершилось чудо: оттаяло сердце жестокого человека, и деревянная чаша весов, на которой лежали все грехи Макара, поплыла вверх. Главная беда, которая случилась с Макаром в жизни, заключалась в болезни души: «Лицо твое темное, – продолжал старый Тойон, – глаза мутные, и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном и тернием и горькой полынью» [Там же, с. 130]. Что явилось причиной превращения Макара, русского человека, в дикаря, ясно из рассказа: Макар отказался от обычаев и традиций предков и не смог принять до конца обычай и традиции другого народа. Он стал перекасти-поле, без рода и племени. Он вне культуры. И это произошло в связи с тем, что его предки покинули когда-то свою землю и пришли в чужую землю, в чужой народ.

Автор в рассказе указывает на тот факт, что якуты в великий праздник идут в церковь. То есть они приняли традиции русского народа, приняли их бога. А он, русский, православный, его потерял. В этом противопоставлении ярко проявляется романтический взгляд автора на проблему переселения русских в сибирские земли. Он усматривает в этом переселении негативные процессы, их пагубное влияние на человека.

Наступившая в XX в. советская эпоха сопровождалась новой волной репрессий, и снова Сибирь становилась местом массовых переселений политических ссыльных. В эпистолярной литературе сибирский текст вновь приобретает отчетливые характеристики, которые присущи были ему в прежние времена. Конечно, условия жизни политических ссыльных XX в. отличаются от условий жизни декабристов и даже революционеров, но природные условия практически не изменились. Природная стихия становится основной силой, превращающей жизнь в Сибири для ссыльных в трудно преодолимое препятствие. Их угнетает не столько сам мороз, сколько единообразие природы. А. Эфрон в письмах Б. Пастернаку, которые можно воспринимать как лирический дневник, писала: «...домик теплый и «свой собственный», значит – по-своему уютный, не лишенный андерсеновской и диккенсовской прелести, которая еще более заметна благодаря контрасту с окружающей природой, ее размаху, суровости и титаническому однообразию ее проявлений. Снег, ветер, мороз, пурга, и опять сначала. И вот меня ужасно утомляет это постоянное единоборство со стихиями, или бушующими, или замирающими в почти нестерпимых морозах до нового неприятного пробуждения. Я просто физически устаю от продолжительности этой зимы, от ее ослиного упрямства,

от ее непреодолимого равнодушия...» (от 5 марта 1951 г.). Или: «Тут ведь очень тихо, особенно когда утихает ветер; тихо и просторно, а это действует на нервы не меньше, чем одиночка. Между прочим, к такой тишине я не привыкла, моей тишине всегда сопровождал или город, или лес, или море, или, в последние годы, гул человеческих жизней, никогда не раздражавший меня гул голосов. Северное же молчание, особенно в пасмурные дни, беспокоит меня. Жду не дождусь, когда же заговорит эта серая, седая, северная валаамова ослица – природа?» (от 2 апреля 1951 г.) [Эфрон, с. 131]. Тишина Сибири становится тем признаком, который соотносит жизнь с могильной тишиной. Автору писем не хватает живых голосов. Конечно, речь идет о таких голосах, к которым она привыкла, с которыми она общалась на понятном ей и им языке. Именно поэтому она чувствует «молчание» живущих с ней рядом сибиряков: с ними она не говорит, потому что не о чем разговаривать.

Весомый вклад в развитие темы ссыльных в Сибири внес писатель В.П. Астафьев. Будучи из семьи вынужденных переселенцев (высланных после раскулачивания), он наблюдал за поведением многих таких же людей, окружавших его. В его памяти сохранились драматические ситуации из истории человеческих судеб. В лирических миниатюрах под названием «Затеси» он сделал несколько зарисовок из жизни ссыльных. Причины, подвигнувшие его к воспоминаниям о них, разнятся, но финал всех воспоминаний драматический. Так, в лирическом рассказе «Пойти к Жуковскому» он описывает в общем плане положение ссыльных крестьян: «Но и здесь, на выселении, хорошо обжившимся трудягам-крестьянам не давали спокойно жить, все их гоняли по разнарядке на лесозаготовки, на сплав леса, на какие-то бурные, многолюдные стройки. Увезут, забросят в котлованы, в ямы, во льды и снега, подержат, поморят, погоняют и бросят. Хочешь – возвращайся, хочешь – тут оставайся, к индустриальному раю прикрепляйся» [Астафьев, т. 7, с. 123]. Автор вспоминает положение крестьян потому, что это ему ближе и понятнее. Крестьянину нужно работать на земле, иначе кто же будет кормить народ. Но для ссыльных этот закон не применим. Они в Сибири изгои, как и другие ссыльные. Они все – «враги народа». При слабой политической грамотности основного населения Сибири многие невинно осужденные и высланные из России в Сибирь на местах и воспринимались как враги. Но Астафьева интересует не столько эта вполне объяснимая несправедливость, сколько иной взгляд на эту проблему – взгляд из собственного родного дома, в котором есть жена, дети, родители. Страшно то, что и в семье многих осужденных в те страшные годы репрессий воспринимали за действительных врагов.

В рассказе «Ярцево – Ярцево» В.П. Астафьев рассказывает жуткую историю одного еврея, высланного в Красноярский край. Этот еврей по прозвищу Юз выслан был в Сибирь за то, что посмел утверждать, будто бы летописи времен Ивана Грозного подправлены. В Ленинграде без него вырос сын. Он хотел знать правду об отце и решил спросить ее у самого отца. Его мучил вопрос, действительно ли его отец враг народа. С этой целью сын приехал в Сибирь, и здесь ему посчастливилось: он на самолете Водопьянова, совершавшего нашумевший во всем мире перелет,

долетел до поселка Ярцево. В день его приезда отец его, как всегда, сидел на берегу Енисея: «А на Енисее Юзик оказался потому, что в поселке ему сказали, мол, все ссыльные околачиваются на берегу, ловят рыбу, там же варят ее и едят. Иногда и на ночь остаются, возле костра, иные уж что-то подобное землянкам вырыли в яру» [Там же, с. 213]. Повстречались сын с отцом, и, уезжая, мальчик спросил отца, враг ли он народа. Отец ответил вопросом: «А ты как думаешь?». Сын ничего не сказал.

Юзик вырос. Вернувшийся из ссылки отец начал его наталкивать на опасную тропу, он стал изучать русские летописи и отстаивать позицию отца. «Теперь уже его берут под белые ручки и везут, куда надо, ... поручают ему рубить лес на Вологодчине, неподалеку от села под названием Ярцево» [Там же, с. 215]. Так, отец был выслан в Ярцево, и сын выслан тоже в Ярцево. Отец приехал к нему, получил свидание и на второй день спросил: «Ну как, сынок, правда ли, что ты – враг народа?» [Там же, с. 215]. Эта поучительная история о еврейских ученых напоминает расхожее выражение о «сомневающемся» еврее. В их судьбе важно то, чем они занимались как ученые и в какое время. Затронули официальную точку зрения (претендующую на истину в последней инстанции) на русские летописи – оказались выброшенными из науки. Как Сибирь, так и Вологодчина (русский Север) таких принимают, им все равно, как выглядят русские летописи. У них своя правда: сын должен верить отцу, иначе в наказание за сомнение его постигнет та же участь. Основу мира составляют не деяния русских князей и царей, а деяния отцов и сыновей. Сын должен отвечать за отца, то есть не должен отказываться от отца.

В другом рассказе – «Так закалялась сталь» – В.П. Астафьев изображает маленькую девочку, которая уже усвоила вечную мудрость. Она была из семьи переселенцев: «Что сказать об этой Аришке? Помню... одежду, в которой она ходила: стеженный серый бушлат, негнувшийся коричневый лоскут вместо шали, подрубленная иглой серая юбка, латаная байковая кофтенка, крупно подшитые грубой драпвой валенки» [Там же, с. 360]. После прочтения романа Н. Островского на уроке она осудила поступок Павки Корчагина, который в хлеб попу насыпал махорку: «Вот он, Павка, попу в тесто махорки насыпал... ребята смеются... А чего смеяться? В третьем годе голод был – народу сколько вымерло... моя сестра... мой братик... в зыбке... и мама... и бабушка... А он... махорку в тесто... Не хорошо так над хлебом галиться... Бог накажет» [Там же, с. 361]. Смерть ее родных от голода навсегда оставила в ее памяти след. В Сибири от голода умирали редко. И если это случилось с родными девочки, то здесь в большей степени проявляется желание автора сказать о том, что нужно ценить хлеб как святыню. Сибирские ребята этого, к сожалению, не осознают. И это беспокоит автора.

Совсем грустной кажется история под названием «Летящая звезда». «Узники любят глядеть на звезды, да более им глядеть-то не на что. Один бывший узник рассказывал мне, как однажды увидел летящую по небу звезду. И спустя время узнал, что это был спутник.

«Так можно и жизнь пропустить», – подумал он и попросился на тяжелую работу». Он ушел в забой, где шли «зачеты», и тогда сокращался срок заключения. А на свободе «он был вором в законе и

лихим арестантом – бездельником во многие годы» [Там же, с. 344]. Так, сибирский писатель воспроизводит ситуации, в которых высвечиваются нравственные проблемы, приобретающие в Сибири особую окраску. Больно автору за убогость мыслей и духа сибиряков. С этой тоской о возрождении русского духа в русском народе и оставил этот мир великий писатель.

Отголоски сибирской мифологемы звучат в абсурдистской прозаической поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки»:

« – А где же он теперь, твой Евтюшкин?

– А кто его знает, где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири...

– Верно говоришь, – поддержал я ее, – в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить <...>

– А в Сибири?..

– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца – и негры на них вешаются...» [Ерофеев, с. 47].

Чернота мнимых сибирских негров – прозрачная аллюзия трупов, не нуждающихся в еде и питье, но нуждающихся в ритуальном убранстве (полотенца). Если мертвые там продолжают жить, то и нуждаются в систематическом обновлении этого убранства. Вен. Ерофеев не сибиряк, он смотрит на Сибирь из своего «далека». Она, ее пространство рек и лесов, ее люди не интересуют его как художника, он выше их и не мается тем, что может оскорбить своего читателя в его нравственном чувстве родины.

В прозе В.П. Астафьева наряду с чувством тоски о человеке высказывается и иное чувство – чувство природы. Она в сочинениях Астафьева одухотворена. Ненормированная этика писателя утверждает в ней нравственное начало. В заключение раскрываемого вопроса приведем суждения сибирского автора с французским именем Жорес об изменчивости Сибири – ее экзистенциональной сущности. Он повествует в одном из своих сочинений о русских землепроходцах. Трудно им пробираться сквозь леса сибирские и реки, мрачнеют их души, накапливается физическая усталость.

Но вот происходят изменения в природе: « Все выше, в полдень, поднималось летнее солнце. Берега запылали жарким пламенем: то расцветала купальница – дивный цвет, земли украшение. Коротко северное солнце, да долог солнечный день...И цветет очарованным узорочьем земля, как камчатая скатерть, все цвета радужные торопится показать людям, как невеста на выданье. И небо не отстаёт красотой от земли, завлекает синевой бездонной, томит душу переливами жемчужными, лазорями, сполохами закатными, тревожными, успокаивает облаками тонкими, перламутровыми [Трошев, с. 146].

Эта природная красота воздействует на путешественников и возвращает их к добру: «И уже не казалась дикой и пустынной задвенная земля, баюкала речная постель, усыпляли переливчатые голоса птах. Похрустывала под ногами ватажников галька, поскрипывали уключины» [Там же, с. 146]. Так, Ж. Трошев возвращается в своих мыслях о сибирской земле к Чехову, который, как отмечал В. Тюпа, придал мифу о Сибири новое развитие.

Сибирские писатели-прозаики по-разному интерпретируют сибирский миф. Довольно много пессимистических рассуждений о нравственном мире сибиряка, о его суровом и бескомпромиссном восприятии мира, грубой душе и непросвещенности. Но в то же время они открывают читателям духовные глубины внешне скрытных и неразговорчивых людей, стремятся найти в них отзвуки русской души и т.д. Так или иначе, в их сочинениях косвенно звучит сибирский миф об особой жизни в Сибири, представляющей рай и ад одновременно. Какое развитие получит сибирский текст в будущем времени, можно только догадываться и верить, что он будет рассказывать о том, как прекрасна жизнь в Сибири.

3.3. Сибирский текст в лирике поэтов Красноярского края второй половины XX в. (50-70х гг. XX в.)

В художественном творчестве идентификация чаще всего проявляется в малых формах, в т. ч. стихотворениях. Изучение и типологизация природных знаков и образов, формирующих локальный текст, способствует «интерпретации культурных смыслов, компромиссу, обогащению культуры, выделению самобытного, индивидуального проявления на региональном уровне» [Эпштейн 1990: 11].

В корпусе стихотворений сибирских поэтов конца 50-70-х гг. (И. Рождественский, К. Лисовский, Р. Солнцев и др.) большая часть посвящена Сибири и сибирякам.

Стихотворение И. Рождественского «Мой край» наиболее полно отразило самобытный колорит енисейской земли, воплощающий одно из существующих в народе представлений о Сибири как о райском уголке, земле обетованной:

Здесь у нас морошка и черника,
Сливы, не боящиеся зим,
Люди здесь от мала до велика
Хлебосольством славятся своим.
Где найдёшь места такие в мире?
Столько птиц и рыбьих косяков!
Столько леса, пашен и лугов!
Столько светлой, необъятной шири!

Это стихотворение отражает лишь одну из составляющих мифа о Сибири, издавна существующем в народном сознании. Природные богатства Сибири, которые могли бы сделать

человека спокойным, богатым, счастливым, увидел в Сибири еще протопоп Аввакум. Такова Сибирь в изображении И. Рождественского, подчеркивающего ее сказочное изобилие. Соответствуют такому художественному пространству и населяющие его персонажи, личности сильные, целеустремленные, способные преодолеть любые трудности («Тропа богатырей», «Землепроходец», «Топограф» и др.).

В русской литературе закрепилось представление о Сибири как о суровом крае: «Уникальное взаимоположение геополитических, культурно-исторических и природных факторов привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти, открывающего проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве и соответствующего обновления жизни» [Тюпа 2002: 28]. У И. Рождественского эти черты Сибири отчетливо проступают в стихотворениях, посвященных ее горам, скалам, рекам, в облике которых поэт подчеркивает хищническое начало.

В пейзажной лирике Р. Солнцева, с 1962 г. связавшего свою судьбу с Красноярским краем, преобладают зимние зарисовки. Именно зимний пейзаж, по наблюдению М. Эпштейна, можно рассматривать как конкретное воплощение и развитие темы национального пейзажа [Эпштейн 1990: 169].

В стихотворениях Р. Солнцева 1960-х гг. зима представлена как враждебная человеку пора года, время обмана, пустых надежд и обещаний:

Над станцией морозный, лунный чад...
Молчат тоннели. И леса молчат...
.....
Заходишь, закуржавленный, как в баню,
У ног, как свора белых лаек, - пар.
(«Над станцией морозный, лунный чад»)

Используемые поэтом метафоры подчеркивают агрессивность зимней стихии (сравнение с лайками), ее враждебность человеку (мороз, как чад).

В лирике Р. Солнцева зима изображается как пора проявления силы и мощи стихий Севера; такова она в стихотворении 1964 г., которое так и называется – «Север»:

Под этими прямыми ветрами
не вздуть костра, не взвезть курка.
Кубическими километрами
Перемещается пурга.

Господство зимней стихии заставляет человека осознать свою физическую слабость, но, собрав силы, человек стремится стать сильным:

И в вечном сумраке навечерном,
чтоб телу слабому помочь,
ты, перепулав утро с вечером,

сам установишь: день и ночь.

В этом стихотворении Р. Солнцев стремился передать масштабность происходящих событий, что было характерно в целом для 1960-70-х гг. Решая эту задачу, поэт использует образы, отражающие крайние полюсы жизни природы и человека (утро и вечер, день и ночь).

Человек способен, организовав свою жизнь, свой быт, противостоять мощи природы, испытывая при этом радость от осознания ее силы и величия:

Здесь, где свобода абсолютная,
ты установишь сам себе,
что можно, что нельзя... И смутные
придут восторги по тебе...

Воплощенный в стихотворении «Север» восторг лирического героя – это сознательное выражение человеком уважения стихии, без чего невозможна жизнь на Севере:

Ведь так спокойней и привычнее.
Так можно выжить. Будет ночь.
И будет день. Хотя отличия
Меж ними мне не превозмочь.

Анализируемое стихотворение «Север» отражает характерное для красноярских поэтов представление о Сибири, о северной зиме. Этот же масштаб изображаемой поры года запечатлен и в стихотворениях И. Рождественского:

Ох, и холодно, звезды и те посинели,
И Венера от стужи ушла в облака.
Бросив вызов морозу и дикой метели,
Ты идешь по застругам...
(«Ох, и холодно, звезды и те посинели...»)

В это же время, в середине 1960-х гг., в поэзии Р. Солнцева встречаются произведения с иной тональностью переживаний, пейзажные зарисовки становятся менее масштабными, менее эпическими, усиливается их лиризм, доверительность интонаций. Таково одно из стихотворений 1965 г. («Березовый и чистый, очень зимний»), в котором зима проявляет присущую природе чистоту, ее самодостаточность:

Березовый и чистый, очень зимний,
как пачка «Беломора», мой лесок.
Он наверху, на сопке, сочно-синий,
а здесь он бел и призрачно высок.

Жизнь леса идет сама по себе, вне зависимости от человека. Зимой жизнь природы не прекращается, ее тайны оказываются недоступными для человека, который, стремясь проникнуть в глубь леса, остается все же ему чужим:

Я, палки опустив, смежив глаза,
Съезжаю наугад, но тем не менее
расходятся белесые леса,
расходятся березы онемелые.

Эпитет «онемелые» указывает не только на сезонное состояние деревьев, но, может быть, и на их нежелание общаться с человеком. Лирический герой ощущает их существами иного мира:

Как привидения, опять они
Смыкаются – я чувствую спиною...
Вон там, внизу уже горят огни,
А наверху – еще закат стеною!

В конце 1960-х гг. восторг перед гармонией природной жизни становится определяющим во многих стихотворениях Р. Солнцева. Так, в стихотворении 1966 г. «Снег выпал» воплощено радостное приятие мира героем, у которого восторг перед белизной и чистотой снега сливается с восторгом перед возлюбленной. Снег – отражение праздника в природе:

Снег выпал – как в праздник счастливый билет!
Он чудный...
Он, знаете, белый, из снега!

В 1970-е гг. в произведениях Р. Солнцева мы видим и иное значение образа снега как знака многообразия природного мира, в котором между явлениями нет и не может быть четкой границы, раз и навсегда установленной:

Снова снег, переходящий в дождь.
Снова день, переходящий в ночь.
Снова мрак, что переходит в свет.
Снова «да», что переходит в «нет».

Полу-«да», и полу-«нет», и дождь.
Полу-«нет» и полу-«да», и снег.
И сквозь все привычно ты идешь,
С тонкою улыбкой, человек...

В этих строчках воплощено представление поэта об изменчивости мира, в котором герой постоянно находится на границе определенного и неопределенного, на их своеобразном пороге.

Более того, для лирического героя отсутствие четкой границы между противоположностями – закон существования человека.

В это же время, в 1970-е гг., в лирике Р. Солнцева воплощается и другая грань отношений человека с Севером. Зима предстает перед читателями не только как пора проявления суровости природы, но и как чрезвычайно важный период, когда человек в своем желании сблизиться с природой стремится познать самого себя:

...еле бредешь ты сквозь иней падучий,
в глубь проникая снегов и сомнений.

И забываются мелкие страсти,
И остаются лишь главные мысли –
Голые, словно замерзшие чаши,
Ясные, словно морозные выси...

Как видим, в 1960 - 70-е гг. в лирике поэта зима становится порою сомнений, именно зимние переживания заставляют лирического героя Р. Солнцева уйти от мелких страстей, сосредоточиться на главных мыслях. Таким образом, зима соотносится с существенным, основным и главным в человеческой жизни.

В итоговой книге «Серебряный шнур» зимние пейзажи занимают значительное место, есть они и в открывающем книгу разделе «Первые годы XXI века». Здесь также вместо обобщенных образов герой видит отдельные предметы, он стремится постигнуть суть единичных явлений. Философское звучание присуще и зимней зарисовке «Сучья тонут на снегу», герой которой, вглядываясь в снег, начинает осознавать ценность мгновений обычной человеческой жизни:

Сучья тонут на снегу,
На свету нагревшись за день.
Рассказать я не могу,
Как теперь до жизни жаден!
Выпал звонко поршень льда
На углу под водостоком.
Ты скажи мне только: да...
Я умею жить с восторгом.
Я и часу не сгублю.
Если выстрелю – то в десять.
Потому что я люблю.

Изменчивость природных явлений («сучья тонут на снегу», «выпал звонко поршень льда») заставляет лирического героя остро осознать хрупкость человеческого существования и признаться в любви к мгновениям прожитой жизни.

В стихотворении «Среди густого снегопада» зимний снег – явленная герою судьбой возможность по-новому осмыслить свою жизнь, определить место в ней дорогого человека. Зима – тот сон, который позволяет людям почувствовать и продлить мгновение счастья:

Среди густого снегопада
В невзрачном городе чужом
Вдруг ты отстала и пропала...
И я во тьме застыл столбом...
Ты где? – но исчезает голос...
Бегу, ищу – да где же ты?!
Никто не видел? Тьма и холод,
Все окна чужды и пусты.
И вдруг бежишь в метели темной...
Ты?
Я!..

Стоим в краю чужом,
как будто мы и не знакомы...
все годы счастья были сном...

Таким образом, в лирике поэтов Красноярского края 1950-70х гг. отражены разные составляющие образа Сибири. Через пейзажные зарисовки, которые в большей степени становятся описанием зимней природы, зимней стихии, поэты определяют территориальную, природную, психологическую, мифологическую составляющую региона. Зима предстает и как враждебная человеку пора года, время обмана, пустых надежд и обещаний, как пора проявления силы и мощи стихий Севера, что заставляет сибиряка болезненно осознавать свою физическую слабость и стремиться преодолеть ее, быть сильным, целеустремленным, способным преодолеть любые трудности, определяет его суровый характер. Без сознательного уважения человеком мощи стихии невозможна жизнь на севере. Но, важна и другая сторона: сибирская зима не только проявление суровости природы, но и важный период, когда человек в своем желании сблизиться с природой стремится познать самого себя. Переживания лирического героя, воплощенные в зимних пейзажах, осознаются нами как чувства человека, стремящегося уйти от мелочей и сосредоточиться на чем-то основном, главном, еще не определенном самим героем. Описывая зиму, герой остро осознает хрупкость человеческого существования и не боится признаться в любви к мгновениям прожитой жизни. В пейзажной лирике поэтов Красноярского края, как показал анализ, присутствуют, более того,

составляют единство, обе части мифа о Сибири – райский уголок, земля обетованная, и пространство смерти, земля, враждебная человеку. И эта бинарность представляет особенность региональной идентификации и самоидентификации в лирическом дискурсе 1950-70-х гг.

3.4. Отношения русских к коренным народам Сибири как культурологическая проблема сибирского текста (по роману А.М. Бондаренко «Государева вотчина»)

Литература, которая отражает судьбу народа, интересна проникновением автора в глубины исторического сознания и самосознания человека. А.М. Бондаренко относится к числу современных авторов, которых интересует человек с точки зрения того, какой он внутри самого себя и как он воспринимает окружающий мир. Три книги под названием «Государева вотчина» автор посвятил далекому прошлому Сибири – времени прихода на ее земли русских служилых людей.

Замысел исторического повествования он объясняет так: «Я родом из села Маковского, где казаки в 1618 году поставили первый острог в Восточной Сибири. Потомки их до сих пор там живут, так что, наверное, сама судьба повернула меня к этой теме. Подумать только, 70 человек шли по Енисею под руководством Рукина и Албычева – песчинка среди массы инородцев! <...> Каждый день опасность: то порог, то зверь, то враждебная стрела. Голодали они, мерзли, теряли друзей, но дошли и основали острог, выполнили свою задачу. Героические это были люди, как же о них не писать?». В размышлениях об этих людях другого сибирского писателя – В.Г. Распутина – звучит та же мысль: «Они выходили в пути крепкими и телом и духом казаками, людьми какой-то особой, сверхъестественной силы и выдержки <...>. После них подобных людей, кажется, уже и не случалось, они были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа». Так, в понимании писателей, присоединение Сибири к России осуществили люди особой породы.

А.М. Бондаренко обращает внимание читателей на характер сознания героев перед походом в Сибирь: «Наше дело – государю бить челом и ясак справно собирать с нехристей», – говорит Петр Албычев; «Наше дело государево, и поступать нам надобно, как повелел государь наш», – вторит ему Черкасс Рукин; «Степанко, казалось, и рожден для того, чтобы всю жизнь исправно трафить государево дело», – рассуждает уже автор. Поход в Восточную Сибирь казаки осознают как свою судьбу, как добровольную невольность, о чем поют в одной из песен: «Занесли меня, доброго молодца, // Что неволюшка служилого, // Грозна служба государева!». Думается, автор убеждает читателей в том, что именно высокая гражданская позиция государевых служилых людей стала основой успешного исполнения порученного дела. Откуда берут свои корни героические сибирские казаки – вопрос научных споров. В современном исследовании «Русь и Рим» авторы утверждают, что уже в Древней Руси появились «профессиональные военные – казачье войско (Орда)». Так, казаки – это особые люди, призванные для войны и обороны государственных земель.

А.М. Бондаренко наделяет своих героев и романтикой подвигов: «Лестно им первым идти в места дальние тунгусские, места, никем не знаемые, первыми ступить на эту неведомую самому государю землю, привести ее под высокую государеву руку ...». В то же время он справедливо замечает, что служилые шли в Сибирь не только для «исполнения воинского долга перед отечеством, а каждый из них вынашивал тайные думки обогатиться в суровом неведомом краю». Это вполне закономерно, так как конечный результат службы государю – это почести и материальное благополучие, дающее ощущение свободы или право на свободу.

На начальном этапе похода служилые осознают Тунгусию как чужую сторону: «Но опасно и боязно идти на тунгусов. Глухомань беспросветная на многие версты. Одному Господу известно, куды приведет Большая звезда» (Заметим, что путь в Сибирь им указывает Большая звезда, а идут они «встречь солнцу»). Она представляется им «гиблым местом», «глушью кромешной», «землей необетованной», но все-таки «государевой инородной вотчиной».

Песни казаков очень точно отражают их отношение к сибирской земле: «Да со милой-то я в разлуке// Разлучила нас беда:// Неволя чужа, дальняя сторона,// Да чужа дальняя сторона». Считая Сибирь чужой, они постепенно начинают воспринимать ее как свою судьбу, иначе – свою «сторону»: «Сторона ль ты моя, сторонушка,// Сторона моя незнакомая!» Таким образом, Сибирь осознается ими как причина разлуки с милой стороной, как источник бед и лишений, как земля, в которой они не собираются оставаться надолго.

Автор подводит читателей к пониманию того, что вся природа неласково принимала пришедших: то солнце «не хотело жалиться над людьми-скитальцами. Оно жарило сверху во всю силу, вдосталь, как могло», то «хмарь несусветная» окутывала тайгу»; даже «вода в реке точно обезумела – волны поднимались выше бортов кочей, потоками катились сверху», а «от кровососов-гнуса лица служилых людей, как подушки, пухлые стали, глаза дымокурами выедает».

Уже в начале пути первых годовальщиков встречает нелегкое испытание, с которого А.М. Бондаренко и начинает историческое повествование: «Ваську Ворожея заломал медведь». В одной из своих повестей («Шатун») А.М. Бондаренко создал образ медведя, который как бы защищал тайгу от варварского отношения к ней так называемого цивилизованного человека. В мифологическом сознании многих народов медведь понимается как «хозяин» леса или земли. Так, можно предположить, что Ваську Ворожея «заломал» хозяин территории, законами которой казак пренебрег: он отделился от товарищей и ушел в глубь тайги по нужде. В определенном смысле Васька стал первой жертвой сибирской тайги. С другой стороны, медведь как божество получило жертву от служилых людей, то есть приняло их в свое пространство и заставило жить по своим законам. В романе автор акцентирует внимание на том, что казаки в дальнейшем не могли следовать некоторым указам царя, так как подчинялись законам тайги. Так, государь приказал им поставить острог и указал определенное место, но случилась лютая зима, и поэтому первый острог они вынуждены были поставить в другом месте.

Намереваясь на новом месте сначала построить избы – «уж шибко хотелось погреть замерзшие косточки в теплой рубленой избе», – они вынуждены были строить амбар для съестных припасов, чтобы «мыши не точили провизию, дождь не мочил, не сырела от земли». Чужая сторона диктовала им свои законы – и первоприборцы научились соотносить свою волю с окружающими обстоятельствами.

Народы, живущие в Сибири, воспринимаются как чужеродные, «злынь несусветная», «нехристи», «самоядь нечистая». Служилые осознавали, что «какая-то непреодолимая пропасть отделяла их от инородцев. Будто далекое замшелое и совсем позабытое прошлое столкнулось вдруг с современным, прогрессивным и реальным настоящим. И было трудно преодолеть ту грань, разделяющую прошлое и настоящее». Автор не случайно соотносит эти два мира как разные ипостаси одного явления – «государевой вотчины».

Конечно, попав в новые для себя природные условия, оказавшись среди аборигенов Сибири, казаки должны были адаптироваться в этих условиях, то есть усваивать нормы и ценности новой среды, а также изменять, преобразовывать среду в соответствии с новыми условиями и целями деятельности.

А.М. Бондаренко называет тайгу «землей-дикушей». Герой повествования – коренной житель Сибири – кынч Намак говорит: «Тайга жестокими нас делает». Не каждый человек сможет выжить в диких условиях. Как утверждал Л.Н. Гумилев, «географический ландшафт воздействует на организм принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. – все это накладывает особый отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть» [Гумилев, с. 33].

Таким образом, все пережитые ими несчастья, пройденные испытания меняют их отношение к тайге. Сибирская земля заставила служилых остановиться и задуматься. Они поняли, что для того, чтобы не погибнуть, им нужно принять законы тайги. Но не только это помогло им достичь цели – помогли и их личные качества, которые в ситуации похода проявились особенно ярко.

Историки отмечают быстроту продвижения русских в Сибири: «За какие-нибудь сто лет русские перевалили через Каменный Пояс – Урал, поднялись по Енисею и Ангаре до Байкала, вышли на Якутию и на Амур. Прошло полвека, и по рекам Дальнего Востока землепроходцы достигли берегов Тихого океана, включая Курилы. Вышли со временем и на самый материк Америки, основали Русскую Америку, включавшую и Калифорнию» [Окладников, с. 163]. В.Г. Распутин объясняет столь быстрое продвижение особенностью русского характера, когда невозможно «усидеть на месте, если слышно от кочевников: впереди великая река Енисей, потом великая река Лена, а затем реки и вовсе поворачивают встречь солнцу». А.М. Бондаренко обуславливает данный факт, во-первых, осознанным

исполнением служилыми своего долга: «Никто из них не бранит судьбину; устремленные вперед, они смело идут навстречу немалой опасности, прибирая вольные туземные земли под государеву руку».

Страна гиперборейцев – «страна, распространявшаяся за Борею, Богом замерзшего сердца, Богом снегов и вихрей, любящим дремать на горной цепи Рипеус (Рипейские горы = Урал). Ночные тени никогда не спускаются на нее, говорили греки; ибо это «Страна Богов», любимая обитель Аполлона, Бога Света, и жители ее – любимейшие священнослужители и слуги его» [Демин, с. 418].

Таким образом, Гиперборею можно рассматривать как единую прародину всех людей, местонахождение которой связывают с Сибирью, а поход русских в Сибирь охарактеризовать как возвращение их на родину. То же отмечает и В.Н. Демин в книге «Загадки Урала и Сибири»: «Стрельцы, купцы, казаки, промышленники, простой люд, воеводы, священники с полным основанием считали, что пришли в новые края как в дом родной – раз и навсегда. Русские восприняли Сибирь как свою настоящую родину» [Демин, с. 368]. Думается, такой же взгляд на Сибирь отражает высказывание В.Г. Распутина: опираясь на жизненный опыт, он утверждает, что Сибирь неминуемо «чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находился вдали от ее жизни и ее интересов».

Л.Н. Гумилев, а вслед за ним и В.Н. Демин, связывают движение русских на Север с теорией пассионарности. Они видят причину в особенности природного и геополитического положения Сибири на земном шаре и месте последнего в подвижной Солнечной системе, связанной, в свою очередь, с неведомыми биосферными закономерностями. В.Н. Демин отмечает: «Само солнце, каждый раз встававшее на Востоке, точно магнит железо, притягивало русских землепроходцев и мореплавателей... С точки зрения гелиобиологии, гелиофизиологии и гелиопсихологии ничего сверхъестественного в подобном предположении нет. Солнце активизирует поведение не только отдельных особей и индивидов, но и целых сообществ. И мать-земля там, где нужно и когда это становилось необходимым, подпитывала избранных судьбы. Сибирская же земля сподвигла на вселенское продвижение вперед целый народ» [Демин, 370]. Следовательно, русские первопроходцы – это пассионарии, которые, начав однажды движение на Восток, уже не могли остановиться, так как их вела вперед, на родину, сама «судьба». В историческом повествовании Бондаренко повторяет, что служилые идут «встречь солнцу»: «Идут служилые люди по малым и большим рекам встреч солнцу».

Значимым в этом смысле оказывается название романа – «Государева вотчина». Слово «вотчина» имеет значение «родина, место рождения». «В XVII в. синонимом слову «вотчина» было другое древнерусское слово, с тем же корнем, – «отчизна» Таким образом, слово «вотчина» представляется возможным рассматривать в значении «отчая земля», то есть «родовая земля», что позволяет считать Сибирь прародиной пришедших в нее служилых людей.

Русские увидели, что немирно живут народы в Сибири, «друг дружку с земли святой сводят».

Тыней: «На вид строг чужой человек, да глаза его выдают, излучая тепло... Он почувствовал себя во власти рыжеволосого – в нем угадывалась невероятная сила». «Тыней, не скрывая страданий за нового брата, работал за двоих».

В свою очередь служилые проявляют чувство жалости и сострадания к инородцам: «Русский народ благочестивый: кто сухари мимоходом сунет, а кто и краюшкой хлеба угостит – вспомянет курень, своих ребятишек босоногих, вздохнут: може, тоже нагишом ходят?». Ондрюшко: «Неволя соединила нас, и мы разберемся в словах, пойдем друг друга».

Так служилые начинают чувствовать себя в Сибири как дома, она уже не представляется им такой опасной и суровой, как в начале похода. «Служилые, оживающие дикие места, повеселели, как муравьи, работали скопом, от темна до темна». Так, один из героев романа, Давыдка, замечает: «Вовсе-то не гиблый край с погаными инородцами... Это наша земляца, русская». «Какое богатство», «чудна сторона», «землица тут твердая, примет нас», «красотишша какая!».

«Не война, а потеха, братья. Дали трепку инородцам. Зело не повадно будет на хоругвь русскую руку поднимать». «Много бедовали служилые люди, неся крестно государев наказ в страну Тунгусию. Но каждый знал, что правое дело вершит, по своей воле идет в глухомань дремучую».

Поняв всю серьезность своего положения, они начинают вести себя более осмотрительно, и природа предстает для них с другой стороны, становится даже привлекательной: «С удивлением смотрят служилые на берега, дивятся. Создала же матушка-природа экое чудо! Помягчали их ретивые сердца, дух захватило от красоты и невероятной силищи тайги». Многие из служилых привыкли к этой земле, захотелось в ней жить: «Не поверстаться ли мне на другой год? Утешение великое приносит земля необетованная. Прирастаю телом к чудной земляце».

Изобразив, в основном, в первом томе служилых первого призыва как совершивших почти героический подвиг, автор описывает в последующих томах служилых второго и последующих приборов: «Новоприбранные были больше молодые. Радели на государевой службе через пень да колоду. Сколь дела, что ждали зова ослота, когда позовет к общинной поварне, чтоб пустое брюхо набить до отказу». И уже защищают аборигенов как своих родных: «Налетели, коршуны, на готовый острог, распоряжаются всем, как своим... То и знают, что самоедь нещадно тормозат. Служилым старого прибора не до того было». Первые служилые в восприятии автора – это люди, закаленные в боях и трудах. Они знали, что надеяться им надо только на себя, на свои силы. Конечно, на каждом отдельном человеке пребывание в Сибири отразилось по-разному: многих Сибирь сплотила, сделала друзьями (Ондрюшка, Давыдка), многие обрели здесь семью, а кто-то удовлетворял только свои корыстные интересы. Но все-таки этот новый мир, в который попали служилые, развил в них определенные качества, выявил нравственные доминанты, изменил их сознание. Общее дело, общие трудности сформировали новый субэтнос – сибиряков.

Многими учеными процесс освоения Сибири называется завоеванием. А.М. Бондаренко в

романе приход казаков в Сибирь завоеванием не называет. Напротив, служилые несли в отдаленную Сибирь свою культуру, поставили преграду на пути новых завоевателей, угрожавших самому существованию народов. Можно сказать, что в процессе совместного существования изменение в самосознании происходит не только у служилых людей, но и у аборигенов. Если сначала местное население настроено было против присутствия русских в Сибири: «Зачем ты пришел на землю моих предков? Ты чужой здесь. Что ты хочешь?», – говорит кынч Намак, то позже они уже мирно сосуществуют на одной территории: «Остяцкий князец в метельные дни февраля безоговорочно перешел на сторону русских». При строительстве Енисейского острога случилось два события. Первое – молитва Треньки Евдокимова: «Окстись, дикуша, мать-земля. Прими яко сынов своих, благостная. Блаженная обитель, прими сердцем своих страдальцев». И другое событие: когда отмеряли землю для острога, наткнулись на медвежью яму начали шуровальной жердью «поднимать идольца». Но медведя в берлоге не оказалось. «Верно, драпанул мохнатый увалень, не чуя под собой ног», – предположил один из служилых. Получается, что медведь уступил место русским казакам или принял их с миром в свои владения, поняв, что они пришли на его землю с миром. Описание строительства Енисейского острога автор предваряет глубоко пафосным монологом: «Огромная страна Тунгусия, и им выпала великая честь прочувствовать сердцем ширь ее... Об истории они не думали. Но люди и через многие столетия вспомнят их... Новым острогом они укрепят устои Великой Руси».

Таким образом, А.М. Бондаренко, повествуя о долгом историческом пути, развивает тему служилых людей в двух планах: с точки зрения службы (государю) и служения (Богу), то есть сохранения в себе самом нравственной основы – Бога. Автор подводит читателей к мысли о том, что предпринятое первыми служилыми есть не просто выполнение государевой службы, а служение – выполнение святого долга по родовой памяти, которое требует напряжения не только умственных, физических, но и духовных сил. Первой фразой автор заявляет тему духовных поисков и служения высшим ценностям во время государевой службы. Не случайно и то, что годовальщики отправляются на этот поиск именно в Сибирь, как мы уже отмечали выше, на свою прародину. Здесь кстати будет привести слова В.Н. Демина: «Это место более святое и более близкое к небу, чем любое другое» [Демин, 59]. Именно сибирская земля, как считает автор, заставила их остановиться и заглянуть вглубь себя, способствовала формированию самосознания сибиряка как особого типа русского человека, особенность которого заключается в его высокой степени осознания естественности связей человека с окружающим миром природы, с человеком и с Богом.

А.М. Бондаренко, рассуждая о судьбе сибиряка в современных условиях, тревожится: «Не вывелся ли на земле енисейской истинный сибиряк, радушный, славившийся во все времена своим неподдельным гостеприимством? Ведь за последние годы произошла заметная переоценка не только материальных, но и духовных ценностей». И сам же отвечает: «К счастью, сибиряк остался сибиряком,

тем человеком, верным исконным традициям, заложенным накрепко предками, борющимися вечно с невзгодами сурового климата и тех условий, в которых изначально они поселились».

Вопросы и задания

1. Освоение сибирских земель – ведущий мотив сибирского текста исторической прозы красноярских писателей:

а) отношения русских к коренным народам Сибири как культурологическая проблема сибирского текста (по роману А.М. Бондаренко «Государева вотчина»);

б) вопросы веры и культурных традиций в сибирском тексте «Повести о забытом землепроходце» Ж. Трошева.

2. Сибирский текст в творчестве поэтов-сибиряков. Проведите сравнительный анализ сибирского текста в стихотворении поэта-сибиряка (на выбор) и поэта-«несибиряка» с целью проследить общность или отличия. Можно для сравнения использовать предложенные ниже стихотворения.

Твардовский А. Т. Две Оки. Ещё о Сибири. От Иркутска до Братска. Байкал. Дорога дорог.

Заболоцкий Н. Север. Седов. В тайге. Творцы дорог.

Рубцов Н. Сибирь, как будто не Сибирь! Шумит Катунь. О сибирской деревне.

Федоров-Омулевский И.В. Сибирские мотивы (1881 – 1883 гг.).

Филимонов Ф. Сны. Тени. Минуте не живи в угоду... «Путник. Старость., Тишина.

Вяткин Г. Алтай. Бобырган. На перевале. Каменные россыпи у Манжерока... Змея над водопадом.

Рождественский И. Мой край. Чайда. Цветы тундры. Камнеломка. Только скалы, да стужа, да ветер строптивый... Полярный мак.

Лисовский К. Березка. Саранка. Цветы. Меж горных кедров-исполинов...

Яхнин З. Первый снег.

Солнцев Р. Березы. Над речкою осины играют на ветру,

Еремин Н. Двор, огород, околица...

Мещеряков А. Фрески словесные, длинные проводы...

3. Охарактеризуйте Лесосибирск как локальный текст региональной культуры и литературы, обращаясь к произведениям лесосибирских поэтов и писателей:

Морозов В. Любимый город. Лесосибирский вальс («Раздвигает мой город тайгу»).

Муханов В. Песня о Лесосибирске («Любимый край, таежные просторы»).

Бирюк Н. Город на Енисее.

Бесцветных В. Город в зелени лесной...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курс лекций, предложенный в данной программе, внешне представляет собою «несобранный цикл». Кажется, что в нем ослаблены внутренние связи между темами, которые образуют три больших раздела. Но если суммировать все обсуждаемые проблемы, то становится совершенно ясной «родственная» душа всех трех текстов. Родство заключается в том, что все тексты уходят корнями в глубокую древность, как бы одну праоснову. Это мифы. Все многообразие мифов сводится к самому универсальному: вечная борьба жизни и смерти составляет их основной сюжет. Раскрытые в лекциях тенденции трех локусов позволяют сделать вывод о том, что самый мощный вектор на будущее содержится в сибирском тексте. Это дает основание более пристально изучать региональную литературу, чтобы понять, отыскать в сибирском тексте те смыслы, которые формируют или диктуют это направление.

Исследование этнографической, лингвокультурологического дискурса региональной идентификации и самоидентификации жителей Приенисейской Сибири позволяет говорить о превалировании общечеловеческих ценностей в региональной идентичности.

Это отчетливо проявляется при анализе народных календарных и семейно-бытовых обрядов и праздников, свидетельствующих о том, что процесс этнокультурной самоидентификации жителей Приенисейской Сибири разворачивается в настоящее время на поле культурного взаимодействия с разными традиционными народными культурами, интегрируя различные культурные артефакты. Это, в свою очередь, актуализирует идейно-мировоззренческую, социально-воспитательную, объединительную направленность процесса этнокультурной самоидентификации, нацеленного на освобождение человека от профанной суетности и постижение сакрального знания и радости бытия.

IV КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1 Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Локальные тексты русской литературы и культуры»

1. Парадигма локального текста.
2. Текст как эстетическая категория в историческом аспекте.
3. Сверхтексты русской литературы и культуры.
4. Проблема конфликтных отношений кавказцев и русских в «батальной» поэзии и прозе XIX века.
5. Романтический образ воина-горца в кавказском тексте русской литературы.
6. Нравственные качества солдат и офицеров русской армии в кавказском тексте русской литературы.
7. Древние обычаи и традиции кавказских народов в повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»
8. События местной истории в кавказском тексте стихотворения М. Лермонтова «Валерик».
9. Тип женщины-горянки в кавказском тексте русской литературы.
10. Кавказский быт в повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая».
11. Мотив плена в повести В. Маканина «Кавказский пленный».
12. Обычаи, обряды и религиозные верования кавказцев в изображении русских авторов (по выбору экзаменуемого).
13. Мифологическая основа петербургского текста.
14. Петербургский текст русской литературы XVIII первой половины XIX в.
15. Социально-культурные детали города как воплощение смерти в петербургском тексте.
16. Петербург – город контрастов (на материале поэзии «серебряного» века).
17. Мотив наводнения в петербургском тексте.
18. Мотив провинциала в столице в русской поэзии и прозе о Петербурге.
19. Петербургский текст повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».
20. Мифологическая основа московского текста как научная проблема.
21. Московский текст русской прозы конца XIX – начала XX в. (А. Чаянов, А. Белый).
22. Образ Москвы в цикле «Стихи о Москве» М. Цветаевой.
23. Средства создания столичного текста в пьесе А. Вампилова «История с метранпажем».
24. Мотив будущего в романах А. Белого («Москва», «Москва под ударом»).
25. Лиминальный миф в сибирском тексте рассказа В.Г. Короленко «Мороз».
26. Формирование сибирского текста в русской литературе XVII - XVIII вв.
27. Лиминальный миф в сибирском тексте рассказа В.Г. Короленко «Сон Макара».

28. Образ жизни ссыльных в сибирском тексте русской литературы и культуры XX в.
29. Сибирь в воспоминаниях декабристов (по выбору экзаменуемого).
30. Сибирский миф в романтической поэме К.Ф. Рылеева «Войнаровский».
31. Хронотопический образ Сибири в рассказе А.П. Чехова «В ссылке», записках «Из Сибири».
32. Тема освоения сибирских земель в исторической прозе красноярских писателей.
33. Сибирский миф в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
34. Сибирский текст поэмы Н.А. Некрасов «Русские женщины».
35. События местной истории и культуры в региональной литературе.

4.2 Примерные темы заданий для самостоятельной работы

1. Этапы формирования кавказского текста русской литературы и культуры.
2. Столичный и сибирский тексты в прозе А. Немтушкина.
3. Сибирский текст в известиях западно-европейских путешественников и писателей XIII-XVII вв.
4. Мотив будущего Красноярского края в политических декларациях и региональных средствах массовой информации.
5. Лесосибирский текст в контексте региональной литературы и культуры.

4.3 Список художественных текстов для обязательного чтения по всем разделам дисциплины

1. Астафьев В.П. Затеси / Астафьев В.П. Собр.соч.: В 15 т. – М., 1997.
2. Басаргин Н.В. Записки. – Красноярск, 1985.
3. Белый А. Петербург. Москва под ударом. Маски //Сочинения: В 2 т. – М., 1990.
4. Бестужев-Марлинский А.А. Амалат-бек. Мулла-Нур. Испытание. Письмо к Доктору Эрману //Сочинения: В 2 т. – М., 1958.
5. Бондаренко А.М. Государева вотчина: В 3 кн. – Красноярск, 1999 – 2005.
6. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. – М., 1990.
7. Вампилов А. История с метранпажем / Вампилов А. Прощание в июне: Пьесы. – М., 1984.
8. Вельтман, А. Приключения, почерпнутые из моря житейского. – М., 1957.
9. Гоголь Н.В. Петербург в 1836 г...Невский проспект. Ревизор //Собр. соч.: В 7 т. – М., 1986.
10. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Собр. соч. В 12 т. – М., 1985.
11. Ерофеев Вен. «Москва – Петушки». – М., 1996.
12. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. – Иркутск, 1979.
13. Короленко В.Г. Избранное. – Красноярск, 1976.
14. Лермонтов М.Ю. Кавказский пленный. Измаил-бек. Валерик. Сон. Казачья колыбельная. Прощание // Сочинения: В 2 т. – М., 1990.

15. Ломоносов М.В. Ода на день восшествия...имп. Елисаветы Петровны... 1747 года// Русская литература. Век XVIII. – М., 1990.
16. Маканин В. Кавказский пленный// Новый мир. – 1995. – № 4.
17. Миллер Г.Ф. Описание Сибирских народов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/?numid=32&article=1352>
18. Некрасов Н.А. Русские женщины // Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников. – М., 1990.
19. Немтушкин А. Мне снятся небесные олени. Солнечная невестка. – Красноярск, 1976.
20. Петербург в русской поэзии XVIII – начала XX века. Поэтическая антология. – Л., 1988.
21. Приставкин А. Ночевала тучка золотая. – М., 1988.
22. Пушкин А.С. Кавказский пленник. Кавказ. Делибаш. Медный всадник. Я видел Азии бесплодные пределы. В Сибирь // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1981.
23. Русская литература. Век XVIII. Поэтическая антология – М., 1990.
24. Рылеев К.Ф. Войнаровский //Рылеев К.Ф. Сочинения. – М., 1983.
25. Толстой Л.Н. Набег. Кавказский пленный. Хаджи-Мурат. Воскресение // Собр. соч.: В 12 т. – М., 1987.
26. Трошев, Ж.П. Повесть о забытом землепроходце. Большой Ошар. – Красноярск, 1985.
27. Словцов П.А. К Сибири // Русская литература. Век XVIII. – М., 1990.
28. Цветаева М.И. Стихи о Москве // Цветаева М.И. Стихи. – М., 1998.
29. Чаянов А.В. Венедиктов, или Достопамятные события моей жизни. Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Х. и иллюстрированные фитопатологом У. – М., 1977.
30. Чехов А.П. В ссылке. Из Сибири // Полн. собр. соч.: В 12 т. – М., 1982.
31. Эфрон А.О Марине Цветаевой. – М., 1989.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абашев В. Пермь как текст. – Пермь, 2000.
2. Анохин А.А. Региональные проблемы социального развития / под ред. С.Б. Лаврова – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986.
3. Бейдина Т.Е. Возможности геополитики в изучении малых региональных величин // Гуманитарные науки в Сибири. – 2000. № 1. – С. 66 – 69.
4. Бродников А. Енисейский острог. – Красноярск: Енисейский благовест, 1994.
5. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996.
6. Гомаюнов С. Местная история в контексте россиеведения // Общественные науки и современность. – 1996. – №1. – С. 55 – 63.
7. Гудаков В. В. Произведения Л. Толстого и А. Дюма о Кавказе как этнологический источник // Русская литература. – 2004. – № 2. – С. 65 – 80.
8. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб: Кристалл, 2001.
9. Демин В. Н. Загадки Урала и Сибири: От библейских времен до Екатерины Великой. – М.: Вече, 2001.
10. Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». – Л., 1988.
11. Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // Человек. – 2000. – № 5. – С. 81– 87.
12. Казаркин А. Проза Сибири в XX веке // Сибирские огни. – 2006. – № 7. – С.12 – 17.
13. Коркин, А. Л. Кавказская война в ранних рассказах Л.Н. Толстого. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=701>
14. Кожевникова Н.А. Улицы, переулки, кривули, дома в романе А. Белого «Москва» // Кожевникова Н.А. Москва и «Москва» А. Белого. – М., 1999.
15. Корниенко Н.В. Москва в русской и мировой литературе. – М., 2000. – С.121 – 126.
16. Купина Н.А. Битенская Г.В. Сверхтекст и его разновидности // Человек. Текст. Культура. – Екатеринбург, 1994.
17. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – М., 1996.
18. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992.
19. Лотман, Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. – Таллин, 1992. Т. 2. – С. 264 – 379.
20. Манн В.В. Москва и "московский текст" русской культуры. – М., 1998.
21. Маркелов Н. «Где рыскает в горах воинственный разбой...» // Новый мир. – 2007. – № 8.
22. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. – М., 2004.
23. Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. – Новосибирск, 2003.

24. Москаленко М.И. Страницы поэзии Красноярска военных лет // Из истории литературы Сибири / Ред. кол.: Г.М. Шленская, Л.П. Якимова., Б.А. Чмыхало – Вып. 2. – Красноярск, 1980.
25. Носовский Г. В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? – М: ООО «АСТОЛ»: ООО «Издательство АСТ», 2004.
26. Окладников А. П. Открытие Сибири. – М.: Молодая гвардия, 1979.
27. Павловский А.И. Куст рябины: О поэзии Марины Цветаевой. – М., 1989.
28. Пятигорский А.М. Структурно-типологические исследования. – М., 1962.
29. Рыбальченко Т. Л. Мифологема образа Сибири в русской прозе второй половины XX века. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.irkutsk.iriss.ru/pub/sbornik_Sib/6_html
30. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей XIII – XVII вв. – Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2006.
31. Степун Ф. Москва – Третий Рим. – СПб., 2000.
32. Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) //Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. – М., 1995.
33. Троицкий Ю.Л. Российская провинция – от топоса к хронотопу/Троицкий Ю.Л./ Российская провинция XVIII – XX веков: Реалии культурной жизни. – Пенза, 1996.
34. Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие – М., 2006.
35. Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. – 2002. – № 1. – С. 27 – 35.
36. Фаст Г. Енисейск православный. – Красноярск: Енисейский благовест, 1994.
37. Чихичин В.В. Геокультурный образ Северного Кавказа в русской литературе XVIII–XIX веков.– Режим доступа:http://conf.stavsu.ru/YOUTH_SCI/SEC3/chikichin.htm
38. Шайдт А.А. Лесосибирск – город лесозэкспорта на Енисее. Краткий исторический очерк. – Енисейск, 1993.
39. Шленская Г.М. Дом и мир: Очерки о творчестве красноярских поэтов. – Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1984.
40. Шулова Я. Петербург и «Петербург» Андрея Белого// Нева. – 2003. – № 8. – С. 10 – 21.
41. Янушкевич А. С. Сибирский текст: взгляд извне и изнутри. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.irkutsk.iriss.ru/pub/sbornik_Sib/5_1.html

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
I. Кавказский локальный текст русской литературы и культуры	7
1.1 Этапы формирования кавказского текста в русской литературе и культуре	7
1.2 Взаимоотношения России и Кавказа в кавказском локальном тексте русской литературы и культуры	10
Вопросы и задания	28
II. Столичный локальный текст русской литературы и культуры	29
2.1 Петербургский локальный текст русской литературы и культуры	29
2.2 Московский локальный текст русской литературы и культуры	52
Вопросы и задания	60
III. Сибирский локальный текст русской литературы и культуры	60
3.1 Сибирский текст русской литературы и культуры XVII – первой пол. XIX вв.	60
3.2 Сибирский текст русской литературы второй половины XIX - XX вв.	70
3.3 Сибирский текст в лирике поэтов Красноярского края второй половины XX в. (50-70х гг. XX в.)	87
3.4 Отношения русских к коренным народам Сибири как культурологическая проблема сибирского текста (по роману А.М. Бондаренко «Государева вотчина»)	93
Вопросы и задания	99
Заключение	100
Контрольно-измерительные материалы	101
Список литературы	104

Учебное издание

Вера Степановна Лобарева
Тамара Андреевна Бахор
Ольга Николаевна Зырянова
Ольга Анатольевна Кашпур
Надежда Алексеевна Мазурова

Локальные тексты русской литературы и культуры

Редактор И.А. Вейсиг
Компьютерная верстка авторов

Подписано в печать 15.07.2019 Формат 60 x 84/16
Усл. печ. л. 6,8 Бумага офсетная
Тираж 200 экз. Заказ

Издательский центр
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел. (391) 206-26-67; [http:// bik.sfu-kras.ru](http://bik.sfu-kras.ru)
E-mail publishing hous@sfu-kras.ru

Отпечатано в типографии МБУ «ЕГИЦ»
г. Енисейск, ул. Ленина, 101, т. 8 (39195) 26065